

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное



Николай Николаевич Златовратский

Юные годы

(Детские и юные годы. Воспоминания 1845-1864 гг. #3)

Николай Николаевич Златовратский – один из выдающихся представителей литературного народничества, наиболее яркий художественный выразитель народнической романтики деревни.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0034
III.....	.0051
IV.....	.0069
V.....	.0094
VI.....	.0128

**Николай Николаевич
Златовратский
Юные годы**

«Освободительные» будни. – Неудачные приключения «свободного стана».

Наступил 61-й год – год «великой исторической эры»... Характерно, однако, то, что, несмотря на напряженное состояние, которое переживали в течение нескольких лет окружающие меня близкие люди в преддверии этой эры, отдав на возможную для них подготовку ее всю свою духовную энергию, самое завершение «великого акта» 19 февраля осталось в моих воспоминаниях в самых смутных и будничных очертаниях. Объясняется ли это тем, что само высшее начальство, повидимому, считало необходимым, ввиду якобы государственных соображений, обставить опубликование этого акта возможной таинственностью и «скромностью», или тем, что мои близкие уже заранее изжили весь духовный подъем медовых месяцев «крестьянского освобождения» и формальное завершение его «манифестом» являлось для них лишь простой «юридической санкцией», значительной

степени, кроме того, отравленной ядом сомнений, разочарований и жутких предчувствий... Так или иначе, но 15 марта, день официального опубликования у нас манифеста 19 февраля, остался в моих воспоминаниях совершенно бесцветным и будничным. Был, конечно, торжественный молебен в соборе в присутствии всего местного генералитета, был для него прочитан с амвона манифест, но... «народ», сам народ «отсутствовал» столь же блистательно, как в эпилоге «Бориса Годунова». О «народных же ликованиях» ниоткуда не доходило никаких и слухов. Царили, по-видимому, сугубые провинциальные будни.

Из «официальных» проявлений, отметивших у нас «эру освобождения», у меня остались в памяти только два характерных факта. Один – это получение, кажется в марте же месяце, одновременно с манифестом, «Положения 19 февраля», которое в сотнях экземпляров было доставлено как в канцелярию дворянского собрания, так и в нашу библиотеку, где они буквально расхватывались заинтересованными лицами, так что я едва успевал выдавать их покупателям. «Положение», как

известно, было очень объемисто, в формате писчего листа, и в общей сложности, со всякими приложениями, не менее 20 печатных листов. Понятно, что «Положение» могло произвести должное впечатление на читателя только после довольно пристального и продолжительного штудирования его и не могло поэтому вызвать какого-либо единодушного эксцесса по поводу его появления; очень естественно, что и у меня в памяти не осталось ничего экстраординарного, что могло бы характеризовать отношение к нему наших обывателей. Очевидным было только то, что «крепостники» чем более вчитывались в него, тем все таинственнее о чем-то друг с другом переговаривались и торопились принимать какие-то противодействующие «меры»; в близких же к нам кругах «Положение» обсуждалось, так сказать, «постатейно» и постепенно, вызывая то общее одобрение, то очень скептическое отношение. Передавая об этом, я уверен, что читатель не заподозрит, что и я, юнец, участвовал в этом «постатейном» обсуждении, в котором я в описываемый момент еще очень немного мог пони-

мать, и, конечно, передаю только мое общее впечатление.

Другой характерный факт имел место несколько позднее. Был у меня приятель-гимназистик, тоже сын чиновника, с которым мы очень часто любили вместе читать, беседовать по этому поводу и даже пробовали пописывать кое-что, особенно он, так как я пока еще относился к этому занятию индифферентно или по крайней мере боязливо, предпочитая секретно упражняться в писании стишков «по Кольцову» (которые мне тогда казались «самыми легкими»), и в то же время не стыдился еще списывать классные упражнения с тетрадок товарищей. Так вот, придя однажды к этому товарищу, я застал его за очень странным, если не сказать откровеннее, занятием. Перед НЕМ лежала стопка чистой почтовой бумаги, а рядом с ней другая, в которую он складывал уже каллиграфически написанные им какие-то письма, размером от 10 до 20 строк. Письма эти он копировал с десятка лежавших перед ним начерно набросанных чьей-то посторонней рукой различных образцов, а затем уже укладывал в стоп-

ки сообразно какому-то алфавитному списку. «Не хочешь ли помочь? – спросил он меня. – Ты ведь умеешь красиво и четко писать». – «Попробую. В чем дело?» – «А вот в чем: отцу заказано от начальства написать несколько сот благодарственных к царю-освободителю писем от имени крестьянских волостей по поводу манифеста девятнадцатого февраля... Ну, так понимаешь: очень просто – отец вот сочинил несколько образцов, а мне велел переписывать и, чтобы не все выходили уж очень одинаковы, поручил даже вносить и свои небольшие изменения или просто переставлять слова и фразы, только чтобы без смысла не вышло... Хочешь, так помогай. Отец обещал мне дать за это на книги... Только, чур, секрет!.. Никому ни слова... Это уж я только тебе... доверяю...» Дело предстояло во всех смыслах любопытное. «Попробуем!» – согласился я и с величайшим интересом стал вчитываться в образцы. Каждый из них заключал в себе первым делом заголовок: «От крестьян такой-то губернии, уезда и волости», затем обращение, на выразительность и строгую корректность которого обращалось осо-

бенное внимание и которое варьировалось в таком роде: «Всемиловитейший и великий государь-отец», или «Возлюбленный наш монарх, отец и покровитель», или в патриархальном тоне: «Батюшка царь!» и т. п. Дальше следовали уже самые верноподданнейшие излияния неизреченных благодарностей в стиле челобитных времен Алексея Михайловича. «Ну, вот тебе бумага, вот список волостей с буквы М... Качай!.. Если вздумаешь что написать по-другому – покажи мне», – сказал приятель, и мы весело принялись за дело, так как дозволение вносить свои вариации в текст образцов побуждало нас к некоему игривому творчеству, которое доставляло нам немало ребячески-школьного развлечения. Проработав с час в помощь товарищу, я, уходя, спросил его: «Что ж, будут их крестьянам читать на сходах?» – «Ну, вот... еще канителиться!.. Прямо целой кипой отправят в Петербург – и шабаш!»

Было ли действительно поступлено так, как говорил приятель, наверное сказать не могу. Думаю, впрочем, что в этом случае приятель просто повторял то, что слышал от от-

ца.

Так «сочинялась» у нас в провинции официальная история освобождения.

Доподлинная история между тем шла своим путем, отражаясь так или иначе в каждой маленькой ячейке обывательского существования и все больше и больше захватывая в свой хаотический круговорот мое юное существо.

Само по себе появление манифеста 19 февраля об освобождении крестьян, несмотря на его крупное историческое значение, не могло затрагивать нас, разночинную массу, с такой непосредственной жуткостью, как это касалось двух прямо заинтересованных сторон – помещичьей и крестьянской. Но в общей даже сугубо-крепостнической и чиновничьей атмосфере нашего городка как-то полусознательно чувствовалось, что за этим «крестьянским» освобождением скрывалось нечто еще более глубокое – какое-то иное, не только «крепостное», но общее, духовное освобождение человеческой личности вообще. Так смутно чувствовалось всеми, даже нами, школярами, хотя никто ясно не сознавал, в каких

определенных формах это должно сказаться. Надо перенестись воображением за 50 лет назад, в глушь нашей провинции, чтобы достаточно оценить все серьезное значение тех элементарно-наивных форм, в которых сказывалось это новое настроение в постепенно «преображавшихся» людях.

Приближались летние каникулы, которые в последние три-четыре года были для нашей семьи, и прежде всего для меня, какими-то истинно духовными праздниками: приезд из столиц дядей, а вместе с ними и другой студенческой молодежи, съезжавшейся у нас на перепутье в свои уездные и деревенские Палестины, вносил столько неведомого, живого, освежающего и преобразующего в заматерелые будни нашей провинциальной жизни. Чего стоило одно открытие библиотеки – этого моего «нового храма», в котором я с таким захватывающим усердием священнодействовал! Естественно, что в последнее время я стал ожидать этих каникул с особым напряженно смутным волнением, в предчувствии новых, еще не изведанных откровений и ощущений... И я не ошибся: нынешние кани-

кулы принесли с собою «нечто», имевшее для меня лично некоторое как бы провиденциальное значение.

Еще стояли полупрозрачные сумерки позднего майского вечера, когда у нашего маленького трехконного домика, немощеная дорога к которому наполовину заросла травой, наполовину была устлана густой пылью, неслышно остановилась тройка лошадей, заложенная в громоздкий тарантас.

Когда, догадавшись по фырканию у окон усталых лошадей, в чем дело, я выбежал с криком: «Они! они!» навстречу долгождан-ным гостям, я был довольно строго остановлен тихим окриком дяди: «Ну, тише, тише! Не мешай!» И я увидел, как приехавший дядя вместе с двумя студентами-товарищами, бесшумно, как тени, двигавшимися вокруг тарантаса, развязав веревки, потащили что-то громоздкое, закутанное войлоком, тихо и осторожно внесли в дом и уложили бережно на пол нашей маленькой зальцы; за этим тюком последовало еще несколько таких же, и, только уложив их, приехавшие стали целоваться со мной и с несколько взволнованно

смотревшим, как мне показалось, на привезенные тюки отцом.

– Ну, все благополучно? – спрашивал он шепотом.

– Прекрасно. Все цело! – так же отвечал ему дядя.

– В полном виде, должно быть, забрали?

– Все до нитки... – Хоть сейчас в дело.

– Ну, ну... Немножко поторопились... Ну, да ничего, авось...

– А что?..

– До сих пор нет еще разрешения... Впрочем, губернатор обещал наверное...

– Ну, чего ж еще! Вас не обманут, – единодушно утешали отца молодые гости.

– Ну, ну! – соглашался отец, приглашая гостей оставить деловые разговоры до утра и идти закусить и отдохнуть с дороги. Но я не мог успокоиться: и этот неожиданный, таинственный громоздкий тюк и напряженный шепот вокруг него так заинтриговали меня, что я никак не хотел ждать до утра разъяснения дела, хотя уже догадывался, по доходившим до меня раньше намекам, что ожидался какой-то «станок» из Москвы.

– Ведь это «станок»? Да? Ну, дядя, скажите: «станок»? – приставал я, смутно понимая значение этого названия.

– Ну, хорошо: станок! И молчи... И чтобы у меня никому ни слова посторонним... Придет время – и ты узнаешь, и все будут знать... – строго сказал отец.

В этот раз на этом я и должен был успокоиться. Но зато утром я был вознагражден сто-рицею. Когда, проснувшись, я заглянул в зальце, в котором на полу вместе с тюками ночевала молодежь, я увидел, что все уже давно встали и хлопотливо возились около распакованных тюков, а посредине зальца стоял он, о котором так часто говорили наме-ками и по секрету в последний год в нашем интимном «интеллигентском» кружке, как о чем-то таком мистическом, достижение чего для наших обывателей было равносильно чу-ду. И вот это «чудо» теперь красовалось в на-шем зальце.[1]

– Вы уже успели распаковать и все уста-вить? – изумленно спрашивал вошедший со мной отец. – Эх, рано, рано вы! – качал он со-крушенно головой... – Не надо бы пока распа-

КОВЫВАТЬ.

– Ну что вы! Чего в самом деле в прятки-то играть? Ведь уж не маленькие же ребята! – возражала довольная молодежь. – Вот, посмотрите-ка – какова штучка!.. Целый месяц охаживали его да осматривали в Москве... Все изучили... Хотите? Самолично напечатаем сейчас все, что угодно.

– Ну, ну! Не очень храбритесь! – говорил отец, видимо все же очень довольный появлением в нашем зале этого «чуда», и с интересом вслушиваясь в объяснения молодежью самых мельчайших деталей.

– Вот теперь смотри! – говорил мне дядя. – Погоди, и тебя самого научим печатать.

– Все это хорошо, – говорил отец. – Только опять вас прошу: пожалуйста, до времени никому о нем ни слова.

Но осторожные предупреждения отца остались втуне. Уже к вечеру стали заходить кое-кто из интимных друзей нашей семьи, и, как будто случайно заглядывая в маленький кабинет, куда все же по настоянию отца был передвинут и спрятан он, они изумленно-весело вскрикивали: «А! Приехала штучка-то?..

Пора, пора! Не все же из казенного горшка похлебку хлебать... Пора и свой заводить»[2]. И, хитро подмигивая, они весело потирали руки и похлопывали отца по плечу.

Через неделю, когда приехал дядя Александр из Р., в нашем зальце уже опять собрался наш интимный кружок, раньше принимавший такое деятельное участие в обсуждении крестьянского вопроса.

– Слышали, слышали! Привезли его?.. Да? – выкрикивал каждый, входя и особенно выразительно пожимая руку отцу. – Великолепно!.. Значит, начинаем? Пора, пора...

– Господа! надо повременить, – смущенно говорил отец. – В особенности надо избегать излишних разговоров об этом... Ведь нет еще разрешения... Мне говорят: «Вишь, чего захотели! Частную свободную типографию у нас, здесь!.. Э! Об этом надо подумать да подумать»...

– Вздор!.. Нечего на них обращать внимания... Не те времена!.. Пишите прямо в Петербург, – отвечали отцу. – А пока что – канитель тянуть нечего. Надо подготавливаться энергично, чтобы с осени двинуть дело с своей газе-

той... Дело для нас новое, нас тоже не скоро раскатаешь...

– Начинать, начинать! Раз он здесь, с нами, наш собственный, значит дело в шляпе...

– Садитесь, господа... Будем вырабатывать программу, намечать сотрудников...

– Позвольте... Так нельзя, – возразил один из юмористов нашего кружка, почтенный толстяк из дворян, составивший себе в городе громкую известность мастерским чтением сатир Салтыкова-Щедрина. – Надо, господа, прежде всего окрестить нарождающееся детище... Все честь честью... Прошу приступить... А вот я, кстати, захватил с собой и проектец наименования, который у меня уже давно был обдуман... Прошу внимания и оценки.

И наш юморист, вынув из бокового кармана сложенный лист, тщательно развернул его на столе: это была заглавная виньетка.

– Прежде всего, господа, должен вас предупредить, что это вовсе не плод моего юмористического легкомыслия. Напротив, здесь все строго взвешено и обдуманно, со всех точек зрения: государственно-исторической, куль-

турной, экономической и прочее... Известно ли вам, господа, что уездные гербы нашей губернии представляют собою некое эмблематическое изображение тех культурно-духовных приобретений, на вящее усовершенствование которых наш русский народ с усердием, достойным лучшей участи, потратил ни много ни мало – тысячу лет? Взять эти эмблемы в основу имени нового нашего органа показалось мне идеей поистине блестящей... Прошу взглянуть... Не находите ли – как, можно сказать, гениально-удачно удалось мне скомбинировать, например, хотя бы букву В из муромских калачей и вязниковского вяза?.. Или, например, букву И из переяславских селедок?..

– Браво, браво!.. Бесподобно! – закричала молодежь, разразившись веселым смехом. – Более удачное начало трудно придумать...

– Эх, господа, – вскричал мой экспансивный дядя Александр, – черт возьми, как у вас здесь стало бодро, весело, хорошо!.. Брошу я рскую гимназию и переберусь к вам... Ей-Богу!.. Там теперь ничего не выходит... Пробовали было хотя бы у казенного станка неофици-

альный отдел в свои руки забрать: не дают! Ей-Богу, к вам сбегу.

– Ура! Нашего полку прибыло!

– Да я что – пустяки... А вот, господа, я для нашего здешнего дела заручился обещанием настоящего, заправского литератора... Только это пока секрет...

– Говори же по секрету: кого?

– «Бова»[3] из «Современника»!..

– О, о! – крикнула в изумлении молодежь. – Ну, значит, начинаем!..

Вперед без страха и сомненья! —

продекламировал кто-то из них начало только что вошедшего в то время в моду стихотворения.

– Да, да, крестный! – сказал дядя. – Не падайте духом: хлопчите, устраивайте, организуйте – вы свое, а мы будем готовить свое...

– Что ж с вами делать! – улыбаясь, говорил отец, шутливо махнув рукой. Но все же, когда были зажжены свечи, он торопливо распорядился тотчас же закрыть закрои у окон и «убрать» из зальца меня с прочей нашей де-

творой; первое «конспиративное» собрание по поводу появления у нас «чуда» уже продолжало заседать при вполне «закрытых дверях» до поздней ночи. А еще через несколько дней я, вернувшись с гулянья, был несколько изумлен новой «конспирацией», застав двери в наше зальце снова припертыми; толкавшаяся около них детвора таинственно и шепотом сообщила мне, что «там» сидит новый гость, только что приехавший товарищ дяди Александра.

– «Бов»? – спросил я.

– Он, он самый!.. Только не велено нам туда входить. Я припал глазами к дверной щели, чувствуя, что никак не мог бы решиться на «безумный» шаг – отворить дверь и лично предстать перед очи этого, еще невиданного мною, «самого настоящего» писателя. На мое счастье, новый гость сидел как раз против моего наблюдательного поста, и я мог совершенно ясно разглядеть его молодое, серьезное, энергичное лицо и мягкие, глядевшие из-за очков, глаза, которые, казалось мне, иногда пристально как будто обращались к двери, замечали мое присутствие за нею и любовно

улыбались мне. Увы! мое созерцание продолжалось только несколько минут. Я застал уже конец визита. «Бов» поднялся, протянул руку отцу, расцеловался с дядей Александром и распрощался... навсегда. Никому из нас и, наверное, ему самому не могла в те минуты явиться страшная мысль, что это свидание – последнее и что эта, такая молодая, необычайно даровитая сила, едва только успевшая размахнуть свои могучие духовные крылья, была уже отмечена неумолимой судьбой... Его живой образ промелькнул передо мной поистине «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». В то время я даже не мог и предчувствовать, что не пройдет и трех лет, как его духовный облик навсегда запечатлется в моей душе, как одно из дорогих воспоминаний моей юности. В описываемое же здесь время я знал его только, так сказать, понаслышке, из рассказов о нем дяди Александра или из разговоров о его статьях молодежи и, наконец, из того, что я встречал его псевдоним «Бов» в получавшихся в нашей библиотеке книжках «Современника» под «серьезными» статьями, в которые я в то вре-

мя еще не дерзал заглядывать, а главным образом по разговорам, которые часто велись в последнее время у нас дома и в гимназии по поводу его статей о воспитании и в особенности о розгах.

Не могу удержаться, чтобы не упомянуть здесь кстати об одном трогательном эпизоде. Как-то в начале зимы этого года, уже поздним вечером, когда отец что-то писал за письменным столом, я сидел за учебником, а матушка что-то чинила, присев сбоку, к нам неожиданно вошел молодой, хороший знакомый нашей семьи, учитель семинарии. Он был бледен и сильно взволнован.

– Ужасное известие! – проговорил он.

– Какое? Что с вами? – быстро вставая, проговорил отец.

– Не слышали еще? Умер... «Бов»!..

– Уже? Боже мой, как скоро! Мне еще недавно писал о нем брат Александр, что, как только он уехал лечиться за границу, его болезнь начала развиваться необыкновенно быстро...

Отец стал передавать учителю содержание писем, а он стоял, беспомощно опустив руки,

в то время как глаза его были полны слез. Я невольно смотрел в его лицо, и мне казалось, что он сейчас разрыдается. Заметив мой взгляд, он протянул руку и, приглаживая мои волосы, сказал: «Помни: умер писатель, каких немного, которому вы обязаны тем, что уже больше не могут вас ни сечь, ни мучить. Не забывай его! Вырастешь – узнаешь об нем не это только...»

– Святая душа! – проговорила матушка, крестясь и вытирая слезы.

А когда я с отцом, проводив гостя, опять сидели за столом, матушка, войдя, тихо спросила отца:

– Так это он и был, дорогой, что малюток от иродовых детей спасал?

– Да, он.

– А как его звали?..

– Николай.

– Вот, Николенька, впиши... собственной рукой впиши, – сказала матушка, развертывая передо мною свое поминанье. И я несмелой рукой внес в него скромное имя «болярина Николая» – имя Н. А. Добролюбова.

Посещение нашей семьи «Бовом», повиди-

мому, еще более оживило и подбодрило молодежь, которая все чаще собиралась у нас, чтобы окончательно выяснить и поставить дело устройства типографии и издания «свободной» газеты. Так как осуществление последней мысли требовало солидного оборудования типографии, на что нужны были немалые средства, которых, повидимому, еще не имелось, а также и преодоления разных административных препон, то молодежь предполагала пока использовать привезенное ею к нам «чудо» собственными усилиями... Скоро я имел великое удовольствие созерцать, как одним утром в наше зальце была внесена и установлена столяром первая «касса», около которой тотчас же собрались наши студенты и начали разбирать привезенный ими же станком шрифт. Работа закипела. Решили на первый раз «самодельным» способом набрать и напечатать крохотную брошюрку невинного содержания. Не только меня, но и самую молодежь прежде всего увлекал и интересовал самый процесс новой для них и мало знакомой работы. Конечно, первые блины выходили «комом»: удалось кое-как, с грехом попо-

лам, отпечатать десяток экземпляров шути-
вой рекламы о рождении в г. В. первой
«свободной» типографии. Тем не менее это до-
ставило молодежи немало веселого удоволь-
ствия. Но... дело на этом и застряло: оказа-
лось, что привезенная ли из Москвы краска
никуда не годилась, или что, кроме того,
недоставало некоторых важных приспособле-
ний, которых достать в В. в то время было
невозможно, – оборудовать дело «самодель-
ным» способом так и не удалось пока. В ожи-
дании, когда получится разрешение и с «ока-
зией» можно будет недостающее получить из
Москвы, молодежь разъехалась на лето по де-
ревням.

Однако попытка насадить «самодельным»
способом «свободное» слово не совсем оста-
лась безрезультатной.

Спустя некоторое время после разъезда мо-
лодежи и с наступлением семинарских кани-
кул, когда у нас наступило полное затишье,
на письменном столе отца вдруг появился
большой конверт, за судьбой которого я на-
блюдал издалека, спрятавшись за дверь. Ко-
гда вечером отец стал разбирать на столе бу-

маги, он с удивлением стал рассматривать содержимое в конверте.

– Николя! – вдруг крикнул он. – Где ты? Позовите ко мне Николю.

Не торопясь и смущенный, я подошел к нему.

– Это твоя затея? Да? – говорил он, показывая на два почтовых листика с напечатанными на них странным образом бледной синей краской какими-то стишками.

– Да разве я умею печатать? – сказал притворно я.

– Ну, не запирайся... Что ж тут плохого? Хочешь быть поэтом... да еще сам себя печатать? Это ты ловко придумал... Только, видишь ли, настоящие поэты всегда пишут правду. А у тебя вот написано, что будто бы «поэт утонул в бальзамическом токе воздушной струи!» То-то я думал: чего это ты стал летом в своей камерке по ночам сидеть? А это ты в бальзамической струе плавал... Ну, голубчик, какие же у тебя в камерке бальзамические струи, хотя бы и у открытого окна?.. Ты сам знаешь, что, к сожалению, как раз около твоей камерки навозный хлев... Ну, и по-

том насчет правописания... есть грешки...

Я покраснел до корня волос: первая критика показалась мне уничтожающей.

– Ты не смущайся уж очень... С кем вначале промахов не бывает, – утешал меня отец. – Но как это ты ухитрился напечатать? Краски нет, станок почти разобран... Удивляюсь! Ты, брат, какой-то новый способ изобрел... Познакомь, пожалуйста.

Польщенный и несколько утешенный словами отца, я тотчас же познакомил его с своим «изобретением», на усовершенствование которого мною было потрачено немало остроумия и усилий, по крайней мере не меньше тех, которые, вероятно, были затрачены первобытным человеком на изобретение хотя бы первого иероглифа. Ларчик, впрочем, открывался просто. Я подкладывал под листы чистой бумаги листки цветной копировальной, брал из кассы требуемые литеры и, нажимая пальцами одну за другой на верхний лист, получал таким образом три-четыре отпечатанных копии.

– Ты, брат, перещеголял даже Гутенберга! – весело смеялся отец, – тот был только печат-

ник, а ты еще и сам поэт!

Как-никак создавшаяся у нас с водворением «чуда» литературная атмосфера захватывала и меня...

Кончились каникулы. Молодежь стала съезжаться, возвращаясь в столицы. Но прежнего оживления в нашей «атмосфере» уже стало меньше: чувствовалось какое-то разочарование. Отец сообщил, что все его хлопоты пока не привели ни к чему, на будущее надежды еще меньше: нынешний губернатор (не «солдафон»), который был терпим еще во время приготовления реформы 19 февраля, теперь оказывался уже «неподходящим», — и уже решено заменить его именно «солдафоном» и что, таким образом, шансов на получение разрешения как на типографию, так и на газету становилось еще меньше. Молодежь разъезжалась в минорном настроении. А к концу года настроение стало еще более мрачным: получено было известие о смерти «Бова», а затем письмо от дяди Александра, недавно женившегося, который писал раздраженно, что у них в р-ской гимназии подуло «реакцией», что ему самому стало сильно

нездоровиться и что ему советуют перейти на службу на Кавказ, где условия лучше как для службы, так и для лечения.

Таким образом, «чудо», водворившееся было в нашем провинциальном домике, стояло без всякого действия, и никаких чудес произвести ему у нас было не суждено.

Охладел к нему и я. Сделав еще несколько попыток печатания «самодельным» способом своих виршей, я в конце концов нашел, что значительно продуктивнее было просто переписывать собственные «творения», чем практиковать изобретенный мною «доисторический» способ печатания. Но меня не оставляла еще мечта, что молчаливо и сиротливо как-то стоявший станок вновь соберет вокруг себя молодежь и, одухотворенный, заработает, наконец, «по-настоящему» и будет творить у нас те чудеса «свободного слова», о которых так много и так восторженно говорили у нас полгода тому назад... и – почему знать? – быть может, удостоюсь и я в будущем быть сопричастным этим чудесам. Признаться, я с особым нетерпением ждал теперь рождественских каникул, хотя и знал, что молодежь не

всегда на них раньше приезжала. Ожидания мои отчасти сбылись, но результат оказался совсем неожиданным. Приехали только дядя Сергей и его неразлучный товарищ, тоже медик, мой бывший учитель. Оба они были люди «серьезные», деловитые, а потому обычно и более молчаливые. Теперь же их серьезная деловитость особенно бросалась в глаза. Прежнего воодушевления и оживления нашей атмосферы с их приездом, однако, не было и следа.

Пробыв у нас в доме почти безвыходно два первых праздника, они однажды вечером вдруг принялись усердно разбирать и запаковывать станок со всеми принадлежностями. Повидимому, они занимались этой операцией до поздней ночи, и я заснул, не дождавшись ее конца. На рассвете я только сквозь сон смутно слышал звякавшие бубенцы у наших окон, а когда встал, то уже не было ни дяди с товарищем, ни «чуда» со всеми его аксессуарами.

Я был не столько изумлен этим исчезновением, сколько удручен каким-то зловещим запустением, которое с тех пор водворилось в

нашем зальце. Вероятно, я расспрашивал отца, куда все девалось, но уже не помню, что он мне отвечал: наверное, он отделался от моих расспросов какими-нибудь неопределенными намеками. Сам он был расстроен, нервен и хмур и целый день вместе с нами и прислугой убирал сор, оставшийся после уборки станка, и все, что могло напоминать о его существовании у нас. А вечером я случайно увидел, как в нарочно затопленной в кухне русской печи отец самолично сжигал все это с последними остатками поломанного и неразобранного шрифта. Все это предвещало мало хорошего.

Так печально закончилась первая попытка насаждения в нашей провинции свободного и независимого слова... и – увы! – уже было не за горами начало крушения и того «нового храма», который был у нас воздвигнут усилиями «преображенных людей».

Когда мне, несколько лет спустя, уже студентом приходилось приезжать в свои родные Палестины, с каким грустным умилением я всякий раз вспоминал наш маленький печатный станочек, который уже одним сво-

им присутствием возбуждал столько благородных мечтаний и порывов! Впоследствии я услышал кое-что о его дальнейшей судьбе: после таинственного исчезновения из нашего дома ему посчастливилось найти более подходящее место, и в течение нескольких лет он не переставал работать «по-настоящему», неуклонно выполняя выпавшую ему на долю тяжкую миссию – служить независимому свободному слову во имя истины и справедливости. Затем сведения о нем исчезают, и дальнейшая его судьба покрыта мраком...

*Эксцессы в практике старой системы. –
 Духовная осиротелость нашей семьи. –
 Первые отклики ликвидационного периода.*

Я уже упоминал раньше, как в общей окружающей атмосфере смутно чувствовалось, что во все прежнее, «старое» должно было вноситься и вносилось что-то новое и что еще более, конечно смутно, чувствовали это даже мы, школяры, и всего острее, быть может, именно я. Мне тогда было шестнадцать лет. Последние годы не прошли для меня бесследно: мой «новый храм», несомненно, «преображал» меня неуклонно. Но как, в каком направлении? Я не мог бы ответить... Мое юное существо все еще, как и раньше, двоилось, и теперь эта раздвоенность чувствовалась мною временами особенно остро. С одной стороны, я сознавал, что мой духовный горизонт благодаря чтению и окружающей «освободительной» атмосфере раздвигался все шире, охватывая такой массой новых представле-

ний, что я жил среди них, как опьяненный не имея сил достаточно определенно разобраться в них; с другой – я, однако, все еще «учился» в гимназии далеко не успешно, продолжая представлять собою самый заурядный тип школяра, отбывающего всякими правдами и неправдами повинность гимназической «учебы», со всеми обычными приемами наивного надувательства и себя и начальства. Разница, однако, в моем отношении к этому школярскому поведению прежде и теперь была очень ощутительна: меня в глубине души начинал уже снедать хоть и плохо сознаваемый еще стыд за глубокую ненормальность этой двойственности, и в то же время меня мучило досадливое сознание, что я был бессилен упразднить одними личными усилиями ту пропасть, которая все глубже и глубже росла между тем, что мне давал мой «новый храм», и продолжавшимся все еще бурсацизмом рутинного преподавания в нашей гимназии.

Подобную же двойственность в духовном развитии вместе со мною начинали переживать тогда уже многие из моих одноклассни-

ков, что сказалось в ближайшем будущем в ряде бурных эксцессов, имевших для некоторых из них тяжелые последствия. Но другого исхода, должно быть, не было; одна ненормальность неизбежно влекла за собой другую, ей противоположную. Из ряда таких эксцессов я приведу лишь два, наиболее характерных из оставшихся в моей памяти. Один из них стал нам, гимназистам, известен в первые же дни нашего появления в классах после каникул. По классам передавалась неслыханная еще раньше весть, что один из взрослых гимназистов попался в настоящей «уголовщине»: в конце лета он, в компании с двумя сверстниками из уличных мальчиков, совершил взлом кружки у кладбищенской церкви, воспользовавшись какой-то жалкой суммой. Скандал выходил тем больший, что новый преступник был одним из даровитых учеников гимназии (кажется, 6-го класса) и особенную даровитость он оказывал в математике. Но в последний год с ним стало твориться что-то до того неладное, что он даже среди нас стал притчей во языцех. Был он сын крайне бедных родителей, какого-то жал-

кого запивохи-чиновника. У бедной матери все надежды сосредоточились на сыне – и поначалу все шло так хорошо. И вдруг судьба ее сына как будто на что-то наткнулась. Он стал все чаще и чаще манкировать, иногда на целые недели. Начальство стало допрашивать мать, которая, в изумлении, божась, уверяла, что ее сын каждый день уходил в гимназию. Несчастливая, измучившаяся с пьяным мужем, была в отчаянии. И вот она прибегла к изумительному «педагогическому» средству: чтобы привязать духовно свое детище к гимназии, она каждый день, едва только сын просыпался, велела ему одеваться, затем привязывала к его руке накрепко бечевку и в таком арестантском снаряжении тянула его, как теленка, в гимназию, почти через весь город, и здесь сдавала с рук на руки сторожу или даже самому надзирателю. Вечером же, дома, она неотступно следила за каждым его шагом, просиживая все часы вместе, пока он учил уроки. Конечно, такой «педагогический» эксперимент, несмотря на одобрение нашего цербера-надзирателя, не мог продолжаться долго над живым существом: юношу снедал

стыд, усугублявшийся тем, что над ним смеялись в лицо и дразнили «телком» не только мы, школяры, но даже некоторые остроумные педагоги; в его сердце все больше скоплялась злоба, он часто зверел, и в конце концов его охватил какой-то бесшабашный разгул. Пойманный с поличным, он был предоставлен на полное усмотрение гимназического начальства. По постановлению последнего он был приговорен к порке и исключению из гимназии с волчьим паспортом, приведшим его к бесповоротному босячеству. Этот случай гибели даровитого юноши долго служил темой разговоров среди либеральной интеллигенции, косвенно отражаясь и на нас. Как-то все чаще и чаще стали проявляться случаи «бравурных» столкновений воспитанников с начальством.

Наконец, сгустившаяся атмосфера разразилась скандалом, превзошедшим, по мнению начальства, все пределы распущенности. Кажется, несколько месяцев спустя после описанного вдруг по классам стали ходить два-три списка какого-то «недозволенного» произведения; списки быстро передавались с

парты на парту, от кучки к кучке, то читаясь шепотом, то вызывая взрывы подавленного смеха. Очевидно, конспиративное произведение пришлось очень по душе всем школьникам: читалось оно с жадностью, некоторые места при общем одобрении повторялись несколько раз, даже заучивались наизусть: в конце концов многие принялись его списывать – и уже к концу занятий количество списков удесятирилось, а к вечеру все эти списки гуляли по всему городу. Повидимому, в этот день еще не знало о них только одно гимназическое начальство. Произведение это было очень грубой по форме и выражениям, но злой, хлесткой и ядовитой сатирой в стихах на весь педагогический состав нашей гимназии, начиная чуть ли не с попечителя и кончая сторожами-секаторами. Сатира эта, или «пасквиль», как ее называло начальство, узнавшее о существовании ее лишь после того, как она стала известной чуть не всему городу, привела его чуть не в бешенство. Придя на следующий день в гимназию, все мы, школяры, с напряженным и в то же время жутким любопытством ожидали, чем разрешится

такой грандиозный скандал. Ни в этот день, ни в следующий начальство наше, однако, ничем видимым образом своего отношения не выказывало. А между тем тайно «поэтический» инспектор и наш цербер-надзиратель уже пустили в ход всю сыщническую систему дознания; путем вымогательства, угроз, подкупа и притворных ласк им очень скоро удалось узнать все, что требовалось, то есть авторов сатиры и ее главных распространителей, которыми оказались, как помнится, несколько учеников пятого и шестого классов. Так как событие считалось выходящим из ряда вон и имело значение скандала уже далеко за стенами гимназии, то начальство, собрав полный педагогический совет, решило превзойти, можно сказать, самого себя в принятии мер к обузданию столь вопиющей распущенности.

Приговорив всех заподозренных в особенно рьяном распространении сатиры к грандиозной порке, а авторов (кажется, двоих) и к немедленному исключению, начальство гимназии, повидимому, имело в виду произвести торжественностью самого приговора и его ис-

полнения педагогическое воздействие не, только на учеников, но и на все общество, которое допустило в своих детях развиться столь яркой распущенности. Однако педагогическое начальство ошиблось в расчете: то, что прежде из его педагогической практики молчаливо как бы одобрялось в обществе, теперь неожиданно вызвало глухой протест. Общество, конечно, находило сатиру крайне непозволительным поступком со стороны воспитанников, но оно в то же время довольно единодушно заявляло, что многие характеристики в сатире, при всей грубости формы, были в сущности справедливы и били не в бровь, а в глаз. Задавались даже вопросом: не были ли в большей степени во всем этом скандале повинны сами педагоги, допустившие возможность зарождения такого протеста? И это говорили не только какие-нибудь «либералы», а даже такие консерваторы, как моя религиозная матушка, которая, не обинуясь, называла некоторых наших педагогов «ироновыми детьми».

Так или иначе благодаря новому «духу времени» глухой протест общества возымел си-

лу. Не помню, в какой именно мере был приведен в исполнение педагогический приговор над преступными сочинителями (авторы, кажется, все же были исключены), но самый «скандал» общественного протеста не только вызвал назначение ревизии от округа, но имел решающее значение на весь ход воспитательного дела в нашей гимназии, заматеревшей дольше других в рутинном бурсацизме.

Прежде всего исчез с поля нашего зрения инспектор, этот пресловутый «поэтический секатор» и главный демон-вдохновитель всей нашей педагогической системы, а вместе с ним окончательно исчезли розги и подобные эксперименты; вслед за ним ушли старый безвольный директор, кое-кто из педагогов и, наконец, цербер нашей гимназии, главный надзиратель, сумевший пролазничеством удержаться, однако, дольше всех...

Как будто какая благодатная гроза разразилась где-то вдали – и вдруг потянуло к нам, хотя несколько, теплом и светом...

Повеяло теплом и светом оттуда, где я видел до сих пор лишь полумрак холодного фор-

мализма, который для меня был тем более непереносимым, чем ярче разгорался яркий и теплый огонек вокруг интимного очага нашей семьи... И было это веяние лично для меня как нельзя более кстати. Бог весть до какого удручения довела бы меня та двойственность в моем развитии, которую так мучительно я начинал сознавать, и куда бы она завела меня в этот критический момент жизни – и моей и моей семьи.

Когда я теперь вспоминаю об этом времени, мне представляется, что все произошло с невероятной неожиданностью и быстротой. Был такой теплый уют близ пылавшего ярким светом очага, в лучах которого так весело и жизнерадостно расцветала и зрела молодая жизнь, и вдруг неожиданно налетевший вихрь задул это веселое пламя жизни, оставив только пепел, под которым лишь слабо тлели уцелевшие искры... В действительности, конечно, все произошло вовсе не так эффектно. Если бы я в то время был более опытен, наблюдателен и чуток, то, несомненно, заметил бы, что все произошло, как теперь говорят, вполне «закономерно»: здесь разгора-

лось веселое пламя жизни, а где-то, тайно и подспудно, работали в то же время темные силы...

Я уже говорил раньше, что самый ярый из наших «эмансипаторов» – Н. Я. Д. еще до появления манифеста 19 февраля должен был быстро и окончательно «стушеваться», исчезнув надолго совсем с поля нашего зрения, под стремительным напором местных крепостников, угрожавших ему, как передавали тогда втихомолку, даже отравлением. По крайней мере он сам лично, лет десять спустя, подтверждал мне это, рассказывая о травле, которую подняли против него и которая заставила его бежать из нашей губернии.

Говорил я уже и о том, какое удручающее впечатление произвело на наш молодой интеллигентский кружок известие о смерти Добролюбова, имя которого было связано с надеждами на создание «независимой» газеты в нашем городе. Через год после этого дядя Сергей, по окончании курса в университете, был послан «заслуживать» стипендию военным врачом в Новгород, а его ближайший друг, мой прежний учитель, был выслан «на

выслугу» в еще более дальнюю от нас губернию. Разлетелось вместе с ними, по разным стогам и весям, много и другой близкой разночинской молодежи, как бы провиденциально призванной стихийно рассеиваться по лону земли русской.

В конце концов и добрый гений нашей семьи, главный вдохновитель ее идеалистических настроений, дядя Александр, с каждым годом становился все нервнее, печальнее и раздражительнее и, невидимо подтачиваемый страшной болезнью, принужден был перевестись на службу в еще более далекий от нас Кавказский край, в Ставропольскую губернию, где быстро и погиб от скоротечной чахотки...

Так, день за днем, быстро сиротела наша скромная интеллигентская храмина. Понятно, что это не могло отражаться благотворно и на настроении нашей семьи. Отец становился все печальнее и озабоченнее, так как семья росла, а между тем нравственная поддержка тех, с кем прежде чувствовалась крепкая духовная связь, все больше и больше таяла. Особенно удручающее впечатление произ-

вела неожиданно быстрая смерть дяди Александра, этого нервного, порывистого, не всегда уравновешенного, но необыкновенно чуткого, нежного и любящего человека. Вслед за ним вскоре умер и мой любимый добродушный дед, которому дядя Александр был обязан многими лучшими сторонами своей души.

Так отрывались и от моей юной души наиболее дорогие связи, не рождая еще взамен себя новых интимных привязанностей. Я все больше начинал чувствовать себя покинутым на распутье...

Между тем то понижение общего настроения, которое сказалось на нашей семье, во многих отношениях не было исключительным в описываемый период. Объявление манифеста 19 февраля, а главным образом опубликование «Положения», провело окончательную грань между прошлым и ближайшим будущим: всяким упованиям и страхам был положен решительный предел. Любопытно, что «Положением» никто в то время не остался вполне доволен. Кто мечтал о лучшем, был недоволен слишком большими уступками «старому»; крепостники находили

его «безмерно-радикальным»; крестьяне относились к нему с скептическим недоумением. Но для всех было ясно одно, что дело так или иначе решено бесповоротно, и теперь все сводилось исключительно к одному, чтобы все внимание уже обратить на начинавшуюся ликвидацию старого, употребив все силы на использование ее в своих интересах. И для успеха этого дела не стояли ни за чем: одни – открыто и нагло, другие – втихомолку и лицемерно. Недаром в то время создался тип «мировых посредников первого призыва», особая доблесть которых заключалась в том, чтобы хоть сколько-нибудь сдерживать хищнические и плутовские инстинкты бывших крепостников и придать ликвидации вид хотя бы некоторой законности. Но это им далеко не удавалось.

До какой степени эти ликвидационные интересы, в первые годы после освобождения, отодвинули все другие, можно было судить по нашей библиотеке. Успех ее в первый год, как я говорил, превзошел самые радужные ожидания. Но не прошло двух-трех лет, как отношение к библиотеке круто изменилось,

особенно с наступлением «ликвидационного периода» после 19 февраля. Мне часто приходилось слышать, как в ответ на напоминание отца кому-либо из дворян о возобновлении подписки они на ходу махали рукой и говорили: «Э, батюшка, теперь не до этого... Куда нам!.. Лишь бы быть живу...»

И действительно, «дворянская» (большую частью годовая) подписка падала с зловещей быстротой. А это грозило большим осложнением. Остальной контингент подписчиков решительно был бы не в силах поддержать престиж библиотеки на прежней высоте. Купцов в нашем лишенном всякого промышленного значения городе было лишь десятков домов, да и то среднего достатка; а кроме того, они решительно не интересовались в то время никакой высшей культурой и вели исключительно «свою линию»: одни по православной части, а другие по раскольничьей, и, за очень редкими исключениями, были совсем равнодушны ко всякой светской книге. На разночинца, составлявшего главный элемент в нашем населении, чиновного или иного вида, хотя и значившегося в большом чис-

ле наших подписчиков, трудно, однако, было возлагать прочные надежды, так как все это был подписчик месячный, за полтинник или четвертак, да и то не всегда аккуратный. Приходилось сокращать подписку на новые журналы и выписку новых книг, а это, конечно, не могло служить к поддержанию старого престижа библиотеки.

Понятно, что отец становился все более удрученным, особенно в связи с быстро сиротевшим прежним приятельским кружком. Были, как я узнал вскоре, и еще другие причины его духовного удручения: для него все более становилось ясным поведение некоторых его сослуживцев, наружно оказывавших к нему дружелюбные отношения, но которые уже давно, с самого ухода из предводителей «старого масона» и переменой общего настроения в дворянской среде, повели против него тайные интриги, распространяя клеветнические слухи.

История старая, как сам мир; но для меня так изумительно еще новы были все такие «впечатления бытия»... И таких впечатлений судьбой, как оказалось, было приготовлено

для меня в достаточном изобилии. Они не за-
ставили себя долго ждать...

Начало крушения моего «нового храма». – Печальный финал.

Однажды, накануне праздника, отец раньше обыкновенного вернулся со службы домой и за обедом неожиданно заявил:

– Ну, готовьтесь... Надо переселяться!..

И матушка и мы, детвора, были изумлены необычайно.

– Куда нам переселяться? – испуганно кристясь, спросила матушка.

– Не нам, не нам самим... Нам дай Бог уцелеть хоть на своем месте, – сказал отец. – Ты завтра свободен? – спросил он меня. – Ну, так с утра отправляйся в библиотеку и займись вместе с П. (отставным старым чиновником, замещавшим в качестве библиотекаря меня и отца) упаковкой и переправкой твоей любимой литературной братии в наш шалаш... Будет!.. Пожили в барских палатах, теперь пора и в черном теле уметь прожить...

– Господи! да куда ж мы-то денемся, Николай Петрович? Ведь у нас мал мала меньше,

кроме самих девять человек. Подумал ли ты? – вскрикнула матушка.

– Так, значит, за нас подумали большие люди, а нам, хочешь не хочешь, надо слушаться... Что ж тут разговаривать! У них уж это давно подстраивалось, да только я тебе не говорил, – заметил отец матушке. – Все думал, что ежели нас не пожалеют, так по крайней мере хоть дела не загубят... «Ну, говорят, нам теперь не до этого... Нам только дай Бог экономию навести... Будет, говорят, доигрались!..» Ну, нечего еще толковать. Другого ничего не придумаешь... Пойдем, брат, соображать, как нам наших литераторов по нашим каморкам рассадить... Немало ведь их... Штука эта хитрая! – говорил мне отец, стараясь шутить в то время, как губы его были белы и дрожали.

– Да как же это можно? Все книги, всю библиотеку? – вскрикнул я, все еще не приходя в себя от изумления, когда мы вошли в наше зальце.

– Все книги, которые наши... Старую городскую библиотеку опять отправят в архивные подвалы на снесь крысам... Довольно посмот-

рела на свет Божий!

– Всю библиотеку... здесь, в зальце? – продолжал я изумляться. – Да ведь вот... померяйте: ведь в ней всего три квадратных сажени... А высоты четырех аршин нет... Да тут и двух шкапов не уместится...

– А кабинет?..

– А в кабинете девять квадратных аршин... Да туда ни один шкаф не войдет.

– А еще передняя?

– Ну, в ней всего шесть аршин.

– А коридор?

– Да ведь он холодный?..

– Ну, да ведь нам и самим не очень тепло... А потом еще – чердак, амбар... Ты не считаешь?

Я пожимал плечами, думая, что отец шутит.

– А ты поскромнее, брат, поскромнее рассуждай, – сказал он. – Шкапы, брат, деланы не по нашему дворцу – значит, и думать нечего их сюда тащить... Разве один-два возьмем, а другие до поры до времени в сарай свалим... А здесь мы, брат, везде полочки, простые самые полочки вдоль всех стен наколотим, где

только свободное местечко есть... Да тут мы со всего мира литераторов разместим. Никого не оставим... В тесноте, да не в обиде!

– Ну, разве ж так можно? – огорчился я.

– А что ж? Разве от этого господа поэты хуже будут, испортятся, по-твоему?

Пришлось мне согласиться и признать, что, пожалуй, с милым рай и в шалаше может быть.

– Вот возьми-ка теперь бечевку да вымеряй, сколько нам надо будет полок заказать, – серьезно заключил отец, уже раньше, видимо, обдумавший всю операцию «переселения литераторов» из барского дворца в разночинский шалаш.

Благодаря тому что с самого начала нынешнего года я должен был заниматься в гимназии и утром и вечером (в землемеро-таксаторских классах), мне пришлось совсем почти расстаться с нашей библиотекой, и я заглядывал в нее уже очень редко. Когда в начале зимы, после неожиданного известия отца о «переселении» библиотеки, я зашел в нее, то был изумлен происшедшим в ней «переворотом»: две трети прежнего обширного помеще-

ния ее уже были очищены как от сельскохозяйственного музея, так и от шкапов с книгами старых российских классиков. Вся библиотека была теперь скучена в двух небольших комнатах. Отец коротко пояснил мне: «Велено все очистить к съезду депутатов... Говорят: самим нужно... Ну, укладывайтесь, да поскорее».

И вот началось печальное передвижение остатков полуразрушенного моего «нового храма» из барских палат на разночинскую окраину.

Через несколько дней переселение было закончено более или менее благополучно, и наш маленький домик до такой степени наполнился книгами, что трудно было сказать, книги ли жили в нашем доме, или мы, семья из десяти человек, жили в домике, сложенном из книг. Кажется, не осталось без книг ни одного свободного местечка: чего нельзя было поместить на полках, то лежало в ящиках под столами, под кроватями, в чуланах, на подволоке, в амбаре... Устроилось книгохранилище невероятное – поистине «нигде пред тем невиданное»...

В первое время я был очень опечален этой картиной. Но вот когда через несколько дней привезли старую вывеску, обмыли ее от пыли и водрузили, как будто вновь заблестевшую, на карнизе нашего дома, я был поражен тем, какую сенсацию произвело это в нашем скромном околотке. В первые, два дня около нашего дома буквально образовалась толкучка из больших и малых семинаристов, двадцать раз перечитывавших вывеску и заглядывавших во все окна и двери, постоянно вызывавших то меня, то брата для переговоров.

– Так она здесь и останется? Навсегда, значит, при нас? – спрашивали они в удивлении.

– Да, останется.

– Ну, это, брат, ловко!.. А?.. Вот так штука... Теперь дело-то сподручнее будет... А? – коварно допрашивали меня великовозрастные, поталкивая в бок.

И мне стало веселее, когда я увидел, какое оживление произвело появление библиотеки в нашем околотке, сплошь переполненном зеленым семинарским поколением, ежедневно по несколько раз двигавшимся из своих квартир целыми шеренгами мимо нашего до-

ма в расположенную вблизи семинарию. И каждому юнцу ежедневно блестела хоть раз в глаза наша сияющая вывеска, невольно возбуждая в нем духовную жажду... «А что ж, может быть, мой „новый храм“ будет здесь даже более у места и у дела?» – думал я.

А через некоторое время, не имея сил устоять против напора всех алчущих и жаждущих духовной пищи юнцов, я, как богач, обладавший несметными сокровищами, тайно делился ими, не думая ни о какой мзде... И теперь, вместе с ними, уже был так доволен этим неожиданным перемещением моего «храма» из барских палат на дно жизни...

*Так храм покинутый – все храм,
Кумир поверженный – все бог!*

Как произошло другое роковое для нашей семьи событие, я теперь не могу себе представить ясно. Ничего эффектного; все шло, казалось, так последовательно и «закономерно». Сначала крушение свободного станка и с ним надежд на «чудеса» свободного слова, потом «осиротелость», шедшая таким изумительным торопливым темпом, потом переселение

нового храма из барских палат, а наконец, и этот решающий финал...

Шли рождественские каникулы. Наш городок был опять оживлен съездом дворянских депутатов, как и три года назад, в бурное время освободительного движения. Но теперь сам съезд был уже далеко не прежним: не было ни лирических речей рыцарей освобождения, ни страстных эксцессов со стороны противников: теперь все шло в каком-то зловеще сдержанном, строго деловом настроении, диктовавшемся громадным большинством, поставившим своей целью, вкупе с новой, пореформенной администрацией, ликвидировать всеми силами все, что напоминало о недавнем освободительном «помешательстве». «Ликвидационная» партия старых крепостников выступила с таким единодушным напором, что пред нею совсем исчезли, как-то стушевались все прежние «прогрессисты».

Это блистательно доказали выборы, которыми громадным большинством голосов был забаллотирован даже прежний предводитель, мягкотелый либерал, три года тому сменивший «старого масона», а вместе с тем с

корнем был высажен и мой отец, мозоливший уже давно глаза и, как давнишний знаток всей подоплеки дворянского самоуправления, мешавший тем, которые собирались ловить рыбу в мутной воде.

Благодаря клеветам и доносам, давно уже тайно распускавшимся про него бывшими якобы приятелями, а также малодушию некоторых из его прежних единомышленников из прогрессивных депутатов ему было отказано сразу от всех должностей, исполнявшихся им долгое время в канцелярии депутатского собрания, и он был выброшен буквально на улицу без всякого снисхождения...

Удар, нанесенный с такой изумительно злостной мстительностью отцу, более пятнадцати лет бесхитростно служившему лучшим традициям передового дворянства, так глубоко повлиял на его душевный строй, что он уже до конца жизни не мог восстановить в себе ни прежней духовной энергии, ни прежнего доверчивого взгляда на людские отношения, при всем своем благодушии.

О всех этих тайных и не тайных причинах крушения отца я узнал уже впоследствии, а

теперь я только догадывался, что отца обидели и огорчили каким-то большим недоверием.

Вскоре после выборов предводителя отец пришел однажды необычно рано; необычно долго молился в зальце перед образом, не говоря никому ни слова. Матушка с боязливым ожиданием смотрела в его лицо.

– Что это ты так рано вернулся, Николай Петрович? – спросила она. – Али нездоровится?.. Очень уж ты все к сердцу принимаешь... Мало ли что бывает... И раньше бывало...

– Будет! – сказал отец. – Теперь мы там больше не нужны... Конец!.. – проговорил он едва слышно и быстро опустился в кресло, как будто у него сразу подкосились ноги.

Матушка опустилась на колени и стала горячо молиться, обливаясь слезами.

– Ну, что ж, все в руках Божиих!.. – сказала она, поднявшись с колен и успокоенная. – Только не отчаивайся, дорогой мой... Он все взмерит и взвесит – всем воздаст по делам их!

И эта, такая простая и искренняя, лишенная всякого лицемерия, непобедимая вера в конечное торжество добра как-то в то время

особенно чувствительно затронула мою душу, и мне думалось, что без этой веры – в тех или других формах – было бы немыслимо разумное человеческое существование.

В то время этот окончательный и резкий перелом в жизни нашей семьи отозвался как-то особенно жутко на всех нас, и не столько в смысле наступившей материальной нужды или потери влиятельного положения отца, а главным образом в смысле какой-то острой духовной осиротелости.

Отец, мрачный и неразговорчивый, с утра до ночи сидел в кабинете, не выходя из халата, курил машинально трубку за трубкой и писал бесконечные письма и докладные записки о своей деятельности в Москву и Петербург, к разным прежним влиятельным единомышленникам, уже успевшим занять видные места в разных высших сферах. Писал он об одном, чтобы ему дали возможность «осмысленного труда», чтобы спасли его от ужаса единственно предстоявшей ему беспросветной канцелярской лямки. Приходили ответы, очень любезные, очень сочувственные, со всякими благими обещаниями... Отец вос-

превал на некоторые моменты духом, мечтал о возрождении библиотеки, типографии, даже газеты... Но обещания оставались обещаниями, комплименты комплиментами, а жизнь где-то там, далеко, уже шла мимо него, старого семинариста...

Между тем жизнь нашей семьи, казалось, катилась с невероятной быстротой по наклонной плоскости. Проходил месяц за месяцем, продавалось и закладывалось все, что было можно и чего было нельзя даже. Матушка, обливаясь слезами, вынимала из старой укладки остатки своего приданого: хранившиеся, как дорогие реликвии, какие-то жемчужные ожерелья, бусы, кольца и браслеты, какие-то чудные кокошники, «муаровые» платья и шитые золотом кофты и туфли, рассказывала сквозь слезы собравшейся возле нее мелюзге длинные воспоминания о каждой вещи и, наконец, несла все это в заклад или на продажу. Наконец, пришлось нести туда же и милые для нее иконы, в серебряных и золоченых ризах, которые доставляли ей так много эстетических наслаждений. Оскудение шло все быстрее. Большая семья требо-

вала много, и той скромной помощи, которую могли сделать ближайшие оставшиеся в живых родные, едва хватало на несколько недель. Наконец, был перезаложен дом, заложенный еще раньше для поддержания библиотеки, чтобы спасти и его и ее от аукционной продажи. Библиотека все больше начинала поражать своею заброшенностью: дворянский подписчик исчез совсем, не желая ходить за книгами по грязным и пыльным улицам далекой окраины; таял и разночинный подписчик, отчасти по той же причине; местный семинарский околоток один еще интересовался ею, но он все больше рассчитывал удовлетворить свою духовную жажду как можно подешевле, а то и совсем gratis (бесплатно (лат.)). Выписка новых журналов и книг, конечно, должна была прекратиться, а с этим вместе еще более таяли всякие надежды на возрождение библиотеки...

Я теперь вспоминаю, как, будучи студентом, мне случайно пришлось читать в одной из книжек либерального журнала провинциальное обозрение, в котором автор описывал свой визит в наш город. Боже мой, с каким

высоким негодованием была им написана страница, посвященная посещению моего бедного «храма», с каким язвительным злорадством он описывал «небритуую, обрюзгшую» физиономию старого чиновника в халате, встретившего его в библиотеке, жалкий домишко на пыльной улице, с лежащими у крыльца свиньями, рассованные по полочкам книги, жалких ребятишек, сновавших между ними, «Полюбуйтесь, читатели, каковы храмы культуры в нашей милой провинции!» – восклицал он. О да, все это была сама правда, но... но фланирующий обозреватель, очевидно, не имел ни времени, ни желания познакомиться со всей правдой о той судьбе, которую пережил мой бедный «храм», такой милый и дорогой для меня когда-то, да, быть может, и не для меня одного.

Сохранились у меня и иные воспоминания о нашей библиотечке в это же время: вспоминаются веселые, живые личики зеленой молодежи, потихоньку от начальства, крадучись, приходившей по двое и по трое посмотреть невиданные иллюстрации и унести с собой кипку книжек; вспоминается старая доб-

рая помещица, жившая невдалеке в усадьбе, которая еженедельно в базарный день присылала как бы «тихую милостыню» голодающим библиотекарям в виде яиц, масла, творога и тому подобной деревенской снеди, «вместо подписной платы», как наивно уверяла она; вспоминается какой-то старый отставной улан из дворян, чуть ли не единственный из этого сословия, кроме «старого масона», сохранивший в то время дружеские отношения к отцу, который привозил с собой по вечерам, потихоньку от своей сердитой супруги, кульки с винами, закусками и гостинцами для наших малышей.

Не могу пройти молчанием и еще одного, быть может, самого трогательного из воспоминаний; когда был поставлен ребром вопрос о необходимости продать единственную корову, пропитывавшую наших малышей, и часть книг из библиотеки, вдруг наша нянька, простая деревенская девица-вековуша, вынянчившая уже нескольких моих маленьких сестер, неожиданно исчезла куда-то и, вскоре вернувшись, стыдливо и смущенно вручила матушке «до поправки» свои скудные трудо-

вые сбережения, причем заявила, чтобы не думали, что она хотела сбежать от нас, что она такого великого греха никогда на свою душу не возьмет и что «до поправки» она «все будет наша»...

Но, наконец, для отца окончательно иссякли всякие надежды на обещания влиятельных покровителей доставить ему «осмысленный труд». Однажды, вернувшись откуда-то, он сказал мне: «Если ты скоро выучишь нынче уроки, то после ужина пойдем со мной... Дело нашлось, и для тебя будет подходящее». И часам к 11 вечера мы отправились на вокзал нашей железной дороги, когда главным образом проходили мимо нашего города пассажирские поезда. Как я, изумленный, ни приставал к отцу с расспросами о нашем неожиданном путешествии, он шутливо говорил: «А вот увидишь скоро». Придя на вокзал, отец направился прямо к газетному киоску в зале I класса.

– Ну, здравствуйте, – сказал он продавцу. – Вот и мы. Рекомендую вам моего молодца: он моей правой рукой будет... Теперь вы можете нам все сдать.

Прежний продавец быстро передал нам счета и опись всего содержимого в киоске, сказал, от кого и как получать из Москвы газеты и книги и куда посылать деньги, распрощался, спеша на поезд, а мы с отцом остались в новой роли железнодорожных газетчиков. Отец стал знакомить меня с делом, но книги и газеты были настолько знакомыми мне предметами, что я быстро усвоил всю операцию и с большим удовольствием взялся за дело.

— Ну, вы теперь, папаша, ступайте спать... А я здесь и один управлюсь. Когда мне будет некогда, тогда пойдете вы или даже сестра с братом. Будем чередоваться. Это очень хорошо!

Я был очень рад и доволен этим первым настоящим «трудом» моим. Тяжеловато, положим, было сидеть, после дневных и вечерних занятий в гимназии и приготовления уроков, до часа ночи, но зато эта профессия в среднем давала нам 10—15 рублей в месяц.

Убедившись, через неделю, что я с сестрой можем легко одни справляться с несложным делом газетной продажи, отец, мрачно взды-

хая, отправился к председателю гражданской палаты, прося зачислить его на службу. Через неделю он получил место помощника столоначальника, с окладом около 20 рублей в месяц. Свершилось то, чего отец так боялся и решиться на что избегал в течение целого полугодя: заживо похоронить себя в юдоли рабьего сухого канцеляризма. Он совсем упал духом. Исчезла как будто навсегда надежда «возрождения». Все недавнее прежнее, еще такое светлое, бурное, окутанное в дымку такого милого, манящего своей чарующей неизвестностью, но полного живой жизни будущего, все быстрее и быстрее таяло и расплывалось, как сновидение. А окружающая серая, повседневная жизнь все оголялась больше и больше...

Новый носитель моих старых симпатий. – А. И. Чу-ев и начало моего духовного возрождения.

Ощущение духовной осиротелости, несомненно, все острее начало отражаться и на мне.

Мне было бы трудно представить ясно, как именно сказывалось это ощущение на моем душевном состоянии, если б у меня не сохранилось несколько разрозненных листочков с несколькими стишками – этими незрелыми плодами моих тогдашних «творческих мук». В техническом отношении «плоды» эти были очень плоховаты, но они характерны единством и напряженностью воплощенного в них настроения какой-то духовной подавленности, растерянности и страстных попыток к «осмыслению» как процесса человеческой жизни вообще, так и своего духовного «я». Много было здесь, несомненно, навеянного со стороны и чтением, воспринятого с ребяческой прямолинейностью, но жажда духовно-

го самосознания была, безусловно, искривления и не могла быть иной для меня в описываемый период.

Я вступал во второй этап своей юной жизни и переживал процесс «психического брожения», который переживает каждый юноша на пороге перелома от интуитивно-хаотических восприятий жизненных впечатлений к реальному синтезу. Такой процесс становится особенно напряженным, когда он сопровождается столь резкими и чувствительными житейскими катастрофами, какие переживала наша семья.

Я был опять на распутье. Прежние духовные интимные связи так жестоко неожиданно прервались, когда они были для меня особенно дороги и незаменимы. В ком и в чем я должен был искать духовной поддержки?

Отец, сам духовно подавленный и удрученный, на мои смутные запросы мог отвечать только одно: «Подожди, мой милый, не торопись... Во всем этом разберешься со временем. А теперь надо одно: учиться тому, что нужно нам сейчас... Вот смотри на меня, старого недоучку-семинариста... Что вышло?..

Было время, когда и мы были нужны. А теперь грош нам цена... Теперь уже нас обходят... Смотри – отовсюду идет молодежь с высшим образованием... Без этого теперь нам гибель... Надо, мой милый, торопиться... Года идут, а жизнь не ждет.»

Надо, надо торопиться во что бы ни стало кончать курс в гимназии, в которой я застрял так постыдно долго. Это я сознавал сам так жестоко обидно, что напоминание об этом только еще более усугубляло остроту моей душевной смуты... О, если бы гимназия наша хоть чем-нибудь интимно милым и душевным могла ответить смутным запросам юной души, чего я так долго искал в ней и не находил до сих пор... Гимназия наша, положим, действительно преображалась, хотя и очень медленно. Вместо прежнего грубого бурсацизма новое «мягкое» начальство старалось как будто ввести и новые, более «деликатные» педагогические приемы. В дворянском пансионе в свободные от уроков часы и в праздники стали устраиваться литературно-музыкальные вечера, поощряться домашние ученические спектакли, открылись даже для учени-

ков прежде недоступные сокровища фундаментальной библиотеки. Даже оставшиеся дослуживать пенсию некоторые наши старички, как я уже говорил, тоже как будто вдруг подновились, пообмякли. Гимназия для меня теперь уже не была, как раньше, символом чего-то неустранимо враждебного, отпугивающего от себя всякую детскую душу.. Но до сих пор еще не было для меня в ней и ничего духовно поднимающего, греющего и ласкающего, что пленило бы ей юную душу и заставляло бы доверчиво раскрывать свои интимные уголки. Лично я еще не встретил до сих пор в гимназии ни одной личности из педагогов, молодых и старых, которые хоть сколько-нибудь могли напомнить мои прежние интимные привязанности в товарищеских кружках обоих дядей, привязанности, быть может, смутные и неопределенные вначале, но так наполнившие мое юное сердце духовной теплотой.

И я так жутко тосковал о них... И не мог не тосковать.

Величественный хаос художественных образов, которыми в течение двух-трех лет на-

полнял мое воображение мой «новый храм», а затем все быстрее нараставшие и сменявшиеся «впечатления бытия» неотступно и властно увлекали меня в несшийся в окутанную туманом даль стремительный поток, по которому плыл я без руля и без ветрил и без надежного рулевого. Было смутно на душе и так жутко от духовного одиночества, и в то же время так страстно хотелось прорезать этот туман, за которым, как я верил, сияет «прекрасное» жизни...

Как-то вскоре после рождественских каникул этого года, когда я был уже в шестом классе, одиноко плелся я после уроков в гимназии домой. Вдруг меня окликнули сзади. Я обернулся и остановился, Меня нагоняла, широко и уверенно ступая, высокая, сутуловатая, худощавая фигура, с большой пачкой книг и атласов подмышкой. Это был наш новый, только что поступивший с осени, молодой учитель естественной истории Чу-ев. Я раскланялся и пошел к нему навстречу.

– Пойдемте-ка вместе, – не уменьшая шага, сказал он мягким басом, приветливо взглянув на меня. – Ведь нам с вами по дороге. Я

уже давно заметил, что мы ходим в одну улицу. Должно быть, мы недалеко живем друг от друга.

– Да, в одной улице, – отвечал я. – Только я немного подальше.

– Это, кажется, недалеко от семинарии? Ну, да я так и думал... Говорят, там библиотека вашего отца?

– Да.

– Ну, вот как хорошо. Значит, мы соседи. Будем ходить вместе... Ну, скажите, как нынче понятно было все, что я объяснял на уроке, или же туманно выходило, сухо? Я, видите, очень интересуюсь мнением учеников о своем преподавании... Это – лучшая проверка самого себя.

– Конечно, понятно, – сказал я восторженно, не будучи в силах скрыть свое волнение. – Спросите любого из нас...

– Ну, положим, вряд ли... Да этого и требовать нельзя, чтобы все одинаково интересовались одним и тем же... У всякого есть свои склонности...

– Да кто же из нас раньше видел или слышал в гимназии до вас что-либо подобное!

Ведь мы до вас и представить себе не могли, чтобы можно было естественную историю не зубрить из страницы в страницу, а изучать как что-то живое, ясное и наглядное... Да кому же это не интересно, А. И.? – продолжал я восклицать в том же тоне, чувствуя, как мою душу все больше и больше охватывают какие-то как будто далекие, но такие милые и дорогие сердцу старые впечатления... «Да, это он *из тех, из тех...* Я уже давно догадывался!» – мысленно говорил я про себя, мельком и конфузливо взглядывая в его лицо.

– А вот с самого начала весны, – говорил он, – мы будем с вами экскурсии устраивать в луга, в леса, на реку... Будем гербарии собирать, тритонов ловить... Это еще интереснее... И побеседуем обо всем попросту...

«Из тех, из тех!» – продолжал я повторять в то время, как в моем воображении все яснее и яснее всплывали близкие моему сердцу образы юных педагогов, когда-то так очаровавшие меня своею «человечностью».

– Ну, вот и моя квартира, – сказал он, останавливаясь у небольшого деревянного флигелька в узком переулочке. – Знаете что, захо-

дите-ка как-нибудь ко мне в свободное время – благо близко живем, – побеседуем... Вечерами я часто дома... Заходите же! – прибавил он, протягивая мне руку. Я несмело протянул ему свою, что-то пробормотал, весь вспыхнув в невероятном смущении, раскланялся и чуть не побежал от него к своему дому. Поистине, я ног под собой не чуял, до такой степени все это было неожиданно и невероятно необычно в педагогической атмосфере нашего города.

«Он из тех!» – еще раз категорически подтвердил я самому себе, вспоминая первое появление его в нашем классе. Известно, что школьники нередко отличаются какою-то инстинктивной тонкой проницательностью относительно оценки своих педагогов. Достаточно было Чу-еву просидеть полчаса в классе, чтобы уже по одному тому, как он смотрит, говорит, ходит, по всей его солидной, сдержанной манере общая характеристика ему была сделана. «Это не из наших», – выговорил кто-то; и вдруг всем стало ясно, что новый учитель действительно представляет собою нечто такое своеобразное, что совершенно не укладывалось в знакомые нам рамки.

Высокий, худой, несколько сутуловатый, с большой красивой темнорусой головой, которую он держал несколько набок, с большими карими мягкими вдумчивыми глазами, Чу-ев был действительно как-то своеобразно прост, естественно человечен в своих отношениях к нам. Это не было ни той снисходительной и заискивающей ласковостью и даже иногда фамильярностью, в которой так много неискренности, ни сухой авторитетностью «человека в футляре», боящегося естественностью отношений к воспитанникам подорвать свой педагогический авторитет. Последние два типа педагогов были наиболее знакомы нам, изучены нами до тонкости, и мы умели вскрывать их специфические черты сразу, как только появлялся «новичок»; сообразно этому сразу же устанавливалась относительно их и та лукавая школярская политика, которая была выработана давным-давно и передавалась из поколения в поколение.

В Чу-еве сразу все признали особый тип, относительно которого никакой выработанной политики в практике нашей гимназии еще не существовало.

Достаточно было познакомиться с его первыми преподавательскими приемами, чтобы понять, насколько все в нем было для нас необычно ново. В первый же урок он прежде всего стал, не сядя на кафедру и переходя от парты к парте, попросту знакомиться с нами, беседуя о том, что и как мы проходили по его предмету раньше, до него, задавая то одному, то другому вопросы из пройденного курса и делая все это до такой степени, так сказать, душевно, что ни у кого из нас не могло зарониться и мысли, что он нас экзаменует или испытывает. Это тут же сказалось в той доверчивости, которая установилась у нас к нему, и в той откровенности, с которою мы признавались ему в своем полном невежестве по многим существенным отделам его предмета.

– Ну вот, – сказал он, кончая беседу, – теперь мы сообща кое-что уже выяснили... Надо подумать, что же нам предпринять?.. Что упущено, того уже не ухватишь. Будем стараться использовать оставшиеся нам два года хотя бы в том размере, чтобы составить себе общее понятие о том, как живет и развивается все

окружающее нас, от растений и ничтожной инфузории до самого человека. Не знать это простительно бедным, не учившимся ничему людям, но уже нам с вами совсем стыдно... Ведь вы учились пять лет!.. И вовсе это уже не так мудрено понять, как вам казалось из сухих учебников... Давайте вот и займемся этим попросту... Задавать уроков я вам пока не стану, а займемся мы по наглядному способу и простой беседой.

Я, понятно, не буду входить в подробное объяснение его преподавательской деятельности, которая теперь давно уже практикуется всеми добросовестными и чуткими к запросам детской души педагогами. Я остановился на этом здесь, чтобы подчеркнуть, насколько тогда такая «метода» в отношениях к ученикам являлась характерной для только что зарождавшегося нового типа преподавателей-натуралистов. Это было для нас тогда поистине «новым словом», имевшим для нашего поколения огромное значение.

Я лично, как мне уже приходилось говорить об этом, был счастливее других, так как мне раньше уже пришлось очень близко со-

прикоснуться с этим типом «человечного» педагога. Понятно, что с первого урока личность Чу-ева как-то невольно и заинтересовала и отчасти даже пленила меня, быть может благодаря некоторой моей склонности в то время к «обожанию» вообще всего, что давало хоть какой-нибудь повод разыгрываться моему идеалистически настроенному воображению. После нескольких уроков его во мне уже вспыхнул совсем неожиданно для меня особенный интерес к естественным наукам, которого раньше я почти не замечал в себе. Когда Чу-ев вскоре стал раздавать нам для прочтения начинавшие выходить в то время в большом изобилии популярные переводные книжки по естествознанию (вроде «историй» кусочков соли, угля, хлеба, а затем и такие, как поэтические этюды из жизни растений Шлейдена) я сделался самым усердным их читателем. Нередко Чу-ев интересовался, насколько мы усваивали прочитанное, и ему нравились мои пересказы об этом в классе. Однажды он даже рискнул дать мне, не в пример прочим, для прочтения хотя бы только первых глав «Физиологию обыденной жизни»

Льюиса. Вначале меня совсем обескуражило и такое «ученое» название книги и ее объемистый размер; я даже приступил к ее чтению с каким-то трепетом. Но затем первые же главы были прочитаны мной с такою легкостью, интересом и даже восторгом, что я изумился на самого себя. Когда вскоре на уроке Чу-ев поинтересовался узнать, какое впечатление произвел на меня Льюис, он, выслушав мой пересказ некоторых глав, остался, повидимому, очень доволен результатами чтения. Вероятно, всем этим объясняется отчасти то, почему он заинтересовался моею личностью и вообще.

В первый же праздник я не преминул воспользоваться его приглашением и, робко и волнуясь, позвонил в его квартиру.

Он был дома и один, и сам отпер дверь.

– Прекрасно. Очень рад. Будем как простые хорошие знакомые! – говорил он, радушно, как и раньше, протягивая мне руку и усаживая за маленький стол с самоваром. – Я, как видите, бобыль, одиночка и потому особенно рад хорошему знакомству.

Радущие его было так просто и искренно,

что я скоро почувствовал себя так же хорошо, как когда-то там, в далекой р-ской гимназии, в такой же маленькой холостой квартире дяди Александра, среди «совсем, совсем новых педагогов».

– Ну вот, познакомьте меня поближе с собою, с Другими, вообще с вашим городом, – говорил он. – Я ведь здесь ничего и никого еще не знаю... Как вы живете?.. Вот, говорите, у вас есть библиотека... Читаете? Много читали?.. Что же больше вас интересовало?.. Гм... гм... Вот как? Даже «Современник»?.. Кто же вам рекомендовал вообще книги? Дяди?.. Даже хотели издавать газету? Станок уже был?.. Даже Добролюбов был знаком? Гм... гм... Странно, удивительно... Кто же был ваш дядя?..

В таком роде продолжался наш разговор, когда он вдруг, несколько смутившись, сказал:

– Вы, пожалуйста, простите меня, что я вас как будто допрашиваю... Нет, нет... Будемте совсем откровенны и попросту... У меня нет никаких задних целей... Я, видите, уже слышал кое-что, но очень противоречивое. А меня

очень, очень все это интересуется. Вот и вы... при всем этом... то есть я хочу сказать – при всех таких благоприятных условиях... и так засиделись в гимназии... Странно, странно... Мне говорили ваши старые учителя, что вы все прежнее время учились очень слабо... да... Даже рукой на вас махнули... Удивительно, странно... Особенно, говорят, вы слабы по языкам... Отчего ваш отец не нашел возможным нанять вам гувернера?..

– Гувернера? – спросил я таким изумленно недоумевающим голосом, что Чу-ев, взглянув на меня, совсем уже смутился и, ходя по комнате, заговорил скороговоркой:

– Видите, все это для меня очень странно... Я все слышу, что будто бы ваш отец нажил на службе большие деньги... Что у него в ломбарде лежит больше пятидесяти тысяч...

И вдруг Чу-ев, взглянув опять на меня, остановился в изумлении. Я уставился на него широко открытыми глазами, чувствуя, как вся кровь отлила у меня от лица, свело губы и всего меня передернуло судорогой, как от электрического тока.

– Дорогой мой, что с вами?.. Простите ме-

ня, простите, что я так грубо коснулся этих интимных подробностей! – заговорил он с искренней лаской и горьким сожалением, сжимая мои руки. – Я думал, что в этом нет никакого секрета... А между тем меня уже давно относительно вас поражают прямо необъяснимые странности... Верите вы мне, что я интересовался этим из искренней к вам симпатии, как к юноше, который давно уже поражал меня странными, непримиримыми противоречиями в своем развитии? Верите моим словам? – продолжал он спрашивать меня, сжимая мои руки и, повидимому, совсем ошеломленный, что я все еще не могу прийти в себя.

– Да... я не знал, что везде так говорят... Вы мне открыли ужасную... ужасную... клевету и ложь, – проговорил я, путаясь и едва слышно. – Я раньше только смутно догадывался обо всем этом, об этой клевете... мне было непонятно, почему был так убит мой отец, когда его так жестоко и несправедливо начали преследовать...

– Говорите, голубчик, мне всю правду... Я верю каждому вашему слову... Это лучше, что

вы все узнали от меня, чем от кого-нибудь другого, – сказал Чу-ев.

– Мы совсем, совсем... едва можем жить, – шептал я, – у меня еще восемь младших братьев и сестер... Отец теперь служит простым писцом. Библиотека разорена... Я с сестрой по ночам торгуем на вокзале газетами... В нынешнем году я записался еще на вечерние землемерские классы...

– Зачем это вы? – грустно покачав головой, спросил Чу-ев. – Ведь вы так совсем запутаетесь в занятиях.

– Боюсь, если не кончу гимназии... с чем мы останемся?.. Идти в писцы... в писцы... в писцы навсегда, – механически повторял я, чувствуя, что у меня перехватывает горло и готовы хлынуть слезы...

– Зачем так думать? Зачем? Этого с вами не может быть... Погодите, мы об этом подумаем с вами, поговорим... Зачем так мрачно смотреть, голубчик?.. Ну, будем друзьями!.. Вы меня простите, что я вас так расстроил... Но всегда лучше знать горькую правду, чем ходить в обмане... Вы мне раскрыли глаза. Теперь многое для меня стало понятным... Ну,

давайте поговорим о чем-нибудь другом!..

И Чу-ев стал меня расспрашивать о прочитанных мною книгах. Но я все еще не мог освободиться от своего удрученного состояния, отвечал рассеянно, и разговор наш не клеился уже. Я стал прощаться.

– Ну, смотрите же не сердитесь на меня! – сказал на прощанье Чу-ев. – И непременно приходите ко мне: чем скорее, тем лучше.

– Да, я приду, – ответил я, почти выбегая из его квартиры, смутный и взволнованный. Я не только не мог сердиться за что-либо на Чу-ева, но едва я вышел от него, как уже совсем забыл о нем; его личность совсем потонула в целом вихре тяжелых мыслей и чувств, которые обступили меня.

В течение нескольких дней я был как в кошмаре, снедавшем меня мучительным чувством ложного стыда за себя и свою семью. Куда бы я ни приходил, с кем бы ни встречался, в гимназии или у товарищей, мне всюду чудилось, что все смотрели на меня подозрительно, говорили со мной неискренно, считая скрытыми обманщиками и меня и моего отца. Когда я вспоминал о Чу-еве или видел его

в классе, меня преследовала мысль, что он, несмотря на все его успокоительные слова, в глубине Души не верит мне, смотрит на меня с сомнением. И я боялся даже помышлять о том, чтобы осмелиться идти к нему. Но кошмар рассеивался мало-помалу, и меня снова инстинктивно потянуло туда, где так неожиданно для меня мелькнул теплый огонек вспыхнувших старых интимных переживаний.

Неделю спустя, все еще снедаемый ложным стыдом, я опять робко позвонил у его квартиры. Чу-ев, видимо, был доволен моим приходом и встретил меня попрежнему радушно. Ни одним словом не намекая о нашем первом тяжелом разговоре, он заговорил о нашей библиотеке, о книгах, которые я читал, о том, чем я больше увлекался, о новостях современной художественной литературы. Было ли это результатом чуткости его натуры, или разговор сам собой вращался в наиболее близком для моего сердца литературном мире, только я чувствовал, что он как будто незаметно вел меня к тому, об отсутствии чего кругом себя я смутно и плохо сознаваемо

тосковал. Мы говорили о Белинском, о Добролюбове, о других знаменитых писателях и критиках, об их значении, как аналитиков не только художественных образов, но и окружающей жизни; об их способности освещать ярким светом пути и цели жизни; о том, как этот свет помогает всем, в каком бы тяжелом положении они ни находились, возрождаться духовно и находить в служении идеалам высокое духовное удовлетворение... Я передаю, конечно, только общий смысл нашей беседы, которая велась далеко не в таком последовательном виде. Это был просто ряд вопросов, которые мне задавал Чу-ев и на которые я силился ответить по возможности связно, волей-неволею стараясь вызвать полузабытые образы в их наиболее ярких очертаниях. Он поправлял меня, дополнял, ставил в связь с другими образами, заставляя вдумываться, разбираться... Несомненно, происходил эксперимент вдумчивого, опытного и проницательного педагога. Но я этого не замечал; для меня это было нечто совсем другое – это было как бы некое «озарение души»...

– Ну-с, так вот, значит, понемногу начина-

ем разбираться, – сказал Чу-ев. – А не замечаете вы, что это выходит как будто забавно, – спросил он улыбаясь.

– Что? – изумленно спросил я.

– А вот то, что урок по естественной истории превратился у нас в беседу по истории литературы, а натуралист преобразился в филолога? А? Разве это не забавно?

И Чу-ев рассмеялся.

– Нет, нет! Это так хорошо! – ребячески восторженно сказал я.

– Станный, удивительно странный вы юноша! – воскликнул он, любовно смотря на меня и качая головой. – Сведений у вас, вот хотя бы по литературе, на десять таких же юнцов хватит, а вот вчера А. А. (учитель словесности) мне передавал, что он вам по теории словесности двойку поставил.

– Это за гиперболу! – сказал я, весь вспыхнув.

– Да чего же вы гиперболы испугались?.. Ведь вы по Белинскому знаете вещи куда мудренее, чем гипербола...

– Я всей этой нашей «теории» боюсь... Только взгляну на нее, так меня на сторону и

оттолкнет... Понимать ее нельзя, ее можно только зубрить, а в ней чуть не тридцать листов. А для чего это – не знаю...

– Но ведь вы сущность дела знаете... во многом знаете и понимаете... Разве А. А. никогда с вами не разговаривал так, как мы вот сегодня, попросту?.. Он мог бы оценить...

– Никогда в жизни!..

– Этакие антиквариаты! – проговорил он, весело засмеявшись. – Ну что ж, будем и впредь с вами беседовать... Думаю, плохого у нас из этого не выйдет...

И так еженедельно, а то и чаще стал я посещать своего нового «вдохновителя», неожиданно посланного мне судьбой, переходя от беседы о Белинском и Добролюбове, о тургеневских «Накануне» и «Отцы и дети», о «Грозе» Островского и «Очерках бурсы» Помяловского к беседам научного характера по всем отраслям естествознания, на которые он часто приглашал по очереди и моих товарищей-одноклассников, показывал коллекции растений, насекомых и минералов, микроскопические препараты, читал популярные очерки...

И все это, казалось бы такое незамысловатое, такое простое отношение между нами и учителем было полно для нас каких-то совсем новых, никогда не изведанных откровений, озарявших наши юные души теплом и светом. Замечательно, что не только я, но и другие мои товарищи начали смутно чувствовать, что после ряда таких бесед у них незаметно стало проявляться даже иное, не прежнее «школярское», отношение и к самой гимназии в ее целом... Конечно, совершалось это «педагогическое чудо» не разом и не во всех отношениях, но было очевидно, что своеобразная, незаурядная духовная натура Чу-ева не только духовно пленила нас себе, но невидимо и неощутимо перебрасывала духовный мост между нами и уже многим из нас давно опостылевшей гимназией. Для меня по крайней мере это было несомненно. Дух прежнего «школярского» отношения к науке испарялся во мне с каждым днем (по крайней мере относительно тех предметов, где «зубрежку» возможно было заменить свободным умозрением) – к изумлению меня самого и моих старых наставников. Секрет этого открылся мне до-

вольню скоро: требовалась только известная доза храбрости, которою после знакомства с Чуевым и его педагогической методой я уже обладал в значительной степени. Как он постоянно внушал нам обходиться при малейшей возможности без сухих учебников, так и я, в один из счастливых моментов моей жизни, решил не открывать постылых учебников, с их традиционными «от сих до сих», а выступать перед своими строгими менторами с ответами «но собственному умозрению». Так на уроке по теории словесности я вдруг изумил нашего старого словесника изложением теории драмы по Белинскому, вместо сухого учебника истории я рассказал эпизоды из Крестовых походов по Груббе, неудобоваримого и деревянного Ленца по физике я заменил Гано... Эффект получился изумительный. Педагогические старички совсем растерялись, не зная, как отнестись к такому, можно сказать, нахальному новаторству.

– Это ты, братец мой, как же так?.. – заговорил старый словесник. – Ведь этак, брат, нельзя по своему усмотрению распоряжаться.

– Да разве же я, А. А., что-нибудь наврал?

Отчего же нельзя? – спрашивал я с наивным лицемерием...

– Дело не в том, братец, наврал ты или нет, а в том, что так не полагается... Для этого есть одобренные начальством учебники...

Тем не менее суровый ментор, хотя и не без сомнений и колебаний (время все же было какое-то не прежнее!), перестал мне с этих пор ставить неукоснительно «двойки», давно уже считая меня решительно не способным усваивать «одобренный учебник»... Приблизительно в том же роде произошли объяснения и с другими менторами.

Так или иначе, я, к своему удовольствию, мало-помалу завоевывал известную самостоятельность «собственного умозрения».

Я вступал в новый период моего «духовного окрыления».

Конспиративная квартира. – Проявления юношеской активности.

Вскоре после начавшихся между мною и Чу-евым столь необычных в нашей педагогической практике близких душевных отношений я встретился в нашей библиотеке с одним великовозрастным «богословом» из семинарии, В. О-вым, принесшим ранее взятые им книги.

– Отчего давно к нам не заходишь? Боишься, что ли? – спросил он меня. – Говорят, у вас есть такие, что боятся... Заходи сегодня...

Я несколько вначале смутился от слов О-ва. В последнее время, подавленный тяжелыми душевными переживаниями, я незаметно для самого себя все больше изолировался от своих сверстников и сохранял с ними лишь внешние отношения, тут был и ложный стыд и инстинктивная боязнь, что окружающие заметят мою психическую неустойчивость, душевные колебания, сомнения; наконец, я уже не мог с прежним легкомыслием относиться

к разным увлечениям, спортивным и иным, вроде невинных кутежей и картежной игры, к которым стали пристращаться некоторые из моих сверстников. Устранялся я от этого не в силу каких-либо ригористических претензий, а просто вследствие инстинктивной боязни окончательно загубить всю свою ученическую «карьеру», которая так мучительно сказывалась на моем настроении своей неустойчивостью и двойственностью, особенно в последние полгода, ввиду тяжелого положения нашей семьи. Поэтому, когда меня звали в товарищеские гимназические или семинарские компании, я отнекивался, отговариваясь разными случайностями. Но теперь, после того, как я под влиянием пережитого духовного перелома благодаря помощи Чуева почувствовал как бы «духовное просияние», я после недолгого смущения с особым удовольствием отозвался на призыв О-ва.

– Нет, я не боюсь, – сказал я, – к вам я приду... сегодня же!

О-ва я уже знал раньше, но не особенно близко. Он был на два года и курса старше меня. В семинарии он был известен за заядлого

«философа», умевшего писать головоломные «задачки», хотя и не всегда пользовавшиеся одобрением начальства ввиду частого отступления автора в область «собственных умозрений». Я тогда, признаться, побаивался такой его учености и не рисковал вступать с ним в товарищеские отношения, но сам он не раз выражал желание сойтись со мной поближе, и я был уже раза два в квартире, где он жил с товарищами – одним богословом и двоими философами; при них жили еще два или три маленьких «училищных». Квартира эта помещалась в небольшом флигеле какой-то мещанки, садовницы и огородницы, на самом краю города, куда в ненастную погоду можно было пройти, лишь преодолев непролазные грязные хляби. Квартира эта в глазах семинарского начальства давно числилась как «неблагонадежная», а среди учащихся была известна под именем «секретной». Про нее ходили слухи, что в ней по преимуществу совершались всякие семинарские «конспирации», начиная от недозволенных собраний, с чтением неодобренных книг и ведением таких же бесед, укрывательства секретных биб-

лиотечек и кончая попойками, впрочем довольно редкими, большею частью только по поводу выдающихся событий, как, например, отправление кого-либо из близких участников в университет или академию или посвящение в священники. Все такие конспирации обставлялись обыкновенно чрезвычайными предосторожностями, так как, несмотря на дальность расстояния и пустынную и грязную местность, семинарское начальство постоянно «точило зубы» на неблагонадежную квартиру и частенько насылало туда «субов». Против главным образом нашествия последних вокруг секретной квартиры в дни особо серьезных «конспирации» устраивались настоящие сторожевые посты по крышам и заборам и даже на деревьях, где сторожевую службу принуждены были «по очереди» отбывать маленькие «училищные», обязанные немедленно при малейшей опасности уведомлять конспирирующую компанию «старших». Обыкновенно особенно конспиративные собрания происходили накануне праздников, после всенощной, и чаще всего в ненастные дни, когда бдительность началь-

ства значительно ослабевала.

Первые посещения мною конспиративной квартиры не оставили особо сильного впечатления; я больше присматривался и прислушивался ко всему и вообще относился хоть и сочувственно, но пассивно. Да и на конспирации я попал все на «деловые»: то читали вслух какое-нибудь произведение новейшей литературы (вообще не одобрявшейся духовным начальством), то трое или четверо философов, собиравшихся в университет, усердно пыхтели над переводом с немецкого Шиллера, стараясь «самодельным» образом изучить немецкий язык с помощью одного лексикона, от времени до времени проверяя себя по русским переводам, то, наконец, вели жаркие, но мало затрагивавшие меня разговоры по поводу разных семинарских распоряжков. Другое дело оказалось теперь...

Когда я в этот раз пришел на конспиративную квартиру, я застал там уже довольно большую компанию «конспираторов», которые вели очень оживленный диспут. Особенно горячились трое во главе с О-вым.

Я уже слышал раньше, что О-в умел време-

нами говорить очень увлекательно и, главное, не по-семинарски, не сухо и схоластично, а просто, образно, как-то даже вдохновенно, но вместе с тем чересчур уж горячо, так сказать «нахраписто» относительно возражателей.

В этот мой приход О-в как-то сразу привлёк к себе мое внимание своеобразной оригинальностью, которой я не замечал раньше. Худой, стройный, довольно высокий, с тонкими чертами лица, с ясными, как-то постоянно вдумчиво играющими глазами и длинными кудрявыми волосами, он был очень изящен, несмотря на плебейскую грубость некоторых его манер и выражений.

Он, видимо разгоряченный, наступал на своего оппонента, тоже богослова, великовозрастного малого, с большим носом и постоянно растопыренными ногами и руками.

– Нет, ты этого не говори, – возражал О-в. – Я, брат, сам не меньше, а может быть, куда выше тебя ценю всякое религиозное искреннее чувство... Да... Но только из этого не следует, чтобы я согласился прикрывать им всякую нелепость и ерунду... Это уж, извини, по-

жалуйста, чтобы я вместе с тобой верил в какого-то черта с рогами и хвостом или... Да мало ли всякой такой дребедени наслоилось около самых возвышенных воззрений...

– Нет, не дребедени... Это все связано гармонически... Вынь одно-все рассыплется, – говорил басом его оппонент. – Я не стою, положим, за то, чтобы злой дух был с рогами и хвостом, но самого злого духа отрицать нельзя... Да... Какая же тогда религия?

– Верно!.. Какая же тогда религия? – подхватили некоторые из великовозрастных.

– Какая? Какая? – вскричал О-в. – Самая возвышенная, трансцендентная, разумно-философская, чуждая всяких диких понятий и влияний.

– Это уж не религия... Религия – это нечто гармоничное, прочно связанное... Религия – это канон, – утверждал N.

– Канон! Какой канон? А ты знаешь ли, вот мой отец, сам священник, старик уж – и тот чуть с ума не сошел от этих канонов... Да! А уж, брат, человек религиозный, не тебе чета. Есть такие каноны, что извращают всякую истинную религию. Да. Попробуй-ка прикры-

вать святыми символами то дикие суеверия снизу, то всякие возмутительные деяния сверху... Нет, брат, религия должна быть чиста и прозрачна, как хрусталь, и на ней не должно быть ни одного пятна... Она должна быть очищена от всякой житейской скверны.

– Ты будешь очищать так, другой – этак, где же границы? Что же тогда останется? Религия должна быть неприкосновенна, она – откровение свыше. А это, брат, одни твои фантазии...

– Нет, не фантазии! – отчего-то вспыхнув, неожиданно для себя заговорил я. – О-в прав... Да... У меня матушка, знаете, какая религиозная... Я и мысли не имею, чтобы относиться к ее религиозности без глубокого почтения и уважения... Да... но суеверие – дело другое... Да... А суеверий и у нее и у других пропасть... И это всегда меня очень волнует. И я чувствую, что надо в этом разобраться... Надо чистое, возвышенное чувство очистить от всего этого...

Помню, говорил я, отчего-то страшно волнуясь, запинаясь. Вообще я ораторскими способностями не обладал, не умел говорить по-

следовательно, хладнокровно развивая свою мысль; всегда это выходило у меня как-то порывисто, нервно, под влиянием охватывавшего меня в данный момент чувства. Передаю здесь, конечно, лишь общий смысл моих возражений...

– Верно, верно, Николай! – ободрил меня Ов, хлопая по плечу.

– Где границы?.. Вы вот что укажите... А это все фантазии, – настаивали оппоненты.

Спор разгорался. Помнится, что я тогда рассказал, между прочим, как однажды моя матушка, найдя спрятанными мною на чердаке после рождественского ряжения маску и парик, устроила целую демонстрацию. В ужасе от своей находки матушка заставила моего почтенного деда благочинного, гостившего в то время у нас, принять меры к искоренению поселившейся у нас нечистой силы. Дед сделал все, что требовалось по требнику: провел весь чин освящения воды и затем, взяв с собой крест и кропильницу, отправился вместе с матушкой на чердак, где торжественно и совершил заклятие над невинной маской и париком, которые вслед за сим были преданы

на дворе сожжению.

Рассказав этот случай, я, волнуясь, передавал, что он произвел тогда на меня сильное впечатление, так как он мне показался профанацией чистого и возвышенного религиозного чувства, и с тех пор я невольно стал критически относиться ко многим предрассудкам, прикрывавшимся религиозным чувством.

– Положим, это так... Но где границы? – продолжали настаивать наши «ортодоксы», как называл их О-в.

– Да, да... Где границы? В этом вся суть; это необходимо определить точно и ясно. Это очень важно, – с особой категоричностью заявил один юноша, до тех пор все время молчаливо ходивший из угла в угол, но в то же время очень внимательно прислушивавшийся к разговору; иногда он подходил к тому или другому из споривших и пытался возражать, но, что-то промывчав, опять сосредоточенно продолжал ходить. Это был тоже богослов. Фамилия его была, помнится, Сизов. Он был известен в семинарии своими странностями. Бледный и худой, с глубоко впавшими

вдумчивыми глазами, крайне тихий, скромный и сдержанный, он был на счету у начальства как самый «идеальный» с его точки зрения ученик. Очень способный, он с необыкновенным прилежанием исполнял и проделывал все, что требовалось по семинарскому канону, и не только за страх, но и за совесть. Товарищи над ним подсмеивались, иногда даже издевались, дразнили «пайнькой», но все, однако, чувствовали, что он не был плохим товарищем: он не лебезил перед начальством, не заискивал, не был доносчиком, очень охотно посещал «секретные» квартиры и большую часть с живым интересом слушал до поздней ночи всякие диспуты; но чаще молчал, довольствуясь лишь тем, что задавал некоторые вопросы – и затем уходил домой, всегда сосредоточенный, иногда сильно взволнованный. Вскоре за ним утвердилось прозвище «схимник», так как начальство и товарищи были уверены, что он кончит одним из первых кандидатов в духовную академию, по окончании которой непременно пострижется в монахи, чтобы стать впоследствии архиереем.

– Да, вопрос о границах требует самого точного и внимательного разъяснения... Это очень, очень важно... Знаете, без этого, без этого... невозможно! – сильно волнуясь, говорил Сизов. – Вот именно – где границы?

– Границы – в науке, – как бы мимоходом бросил густым баритоном молчавший до того времени богослов, один из обитателей конспиративной квартиры. Все время нашего спора он сидел в стороне и что-то переводил с немецкого. Он был известен среди товарищей как юноша с большим практическим тактом; умный, дельный, энергичный, с положительным складом ума, он был постоянным антагонистом поэтически-философствующего О-ва. Фамилия его была М-ский.

– Как ты сказал? – переспросил его Сизов.

– Границы – в науке, – спокойно и категорически повторил М-ский, не отнимая глаз от лексикона.

– Ну, наука – это особая статья... Это – область практическая, – единодушно заметили ортодоксы.

– В этом и суть, – начал было М-ский, но его прервал О-в.

– Нет, не в этом!.. – сказал он особенно вызывающе.

– Да, да, не в этом!.. – вдруг с особым одушевлением проговорил Сизов. – Все это надо, непременно надо уяснить.

– Постойте, постойте. Давайте разберемся! – воскликнул О-в, взмахнув своей кудрявой поэтической куафюрой (за которую ему частенько-таки доставалось от семинарских «субов», иногда настойчиво заставлявших его отправляться на стрижку). – Скажите, что такое истинное христианство? Имеете вы ясное представление?

– Это Божественное откровение.

– Но ведь и библия была в свое время Божественное откровение. А кто же, как не Христос, внес великий, очищающий и озаряющий свет в захламощенное всяким ужасом и сором библейство, с его книжниками и фарисеями? Кто открыл великую духовную борьбу против всемирного владычества рабского, идолопоклоннического строя жизни? Не он ли был великим очистителем старых религий?

И вдохновенный О-в, как истинный худож-

ник-импровизатор (как нам тогда казалось), развертывая одну за другой широкие исторические картины, все яснее и ярче рисовал образ Христа, осветившего миллионы человеческих душ великим просиянием, призывая всех труждающихся и обремененных в единое воинство Христово... – Вот где начало очищения! Он дал нам единственный и великий пример и закон из века в век! А что сделали из его учения вы, новые книжники и фарисеи?

О-в говорил долго, увлекательно, картинно: он был в ударе.

Чем больше говорил О-в, тем больше я приходил в какое-то для меня самого непонятное волнение: я точно теперь впервые в своей жизни почувствовал, что я уже не пассивно воспринимаю то, о чем говорилось, не как младший от старших, что в душе я сам активно переживаю каждый образ, каждую высказанную мысль. Эти образы и мысли моментально, как в зеркале, отражаясь в моем сознании, вызывали за собой целый ряд образов и мыслей, когда-то полусознанно внедренных в мой мозг среди хаоса пассивно вос-

принимавшихся жизненных и книжных влияний и впечатлений. Все эти образы вспыхивали в моем воображении в каком-то еще неведомом мне раньше, но теперь таком ясном, понятном и волнующем освещении, и я, с тайным чувством приятного сознания зарождающейся духовной активности, в волнении прерывал О-ва: «Да, да!.. Это верно... А помнишь это у Шиллера – в „Дон-Карлосе“?.. Да?.. А читал ты „Тайны инквизиции“ 17? Вот это все... вот также...»

Это мое, еще не испытанное раньше, настроение достигло высшей степени напряжения, когда О-в закончил свои импровизации таким образом:

– Погодите, постойте!.. Вот! – сказал он, роясь в своих карманах и вытаскивая оттуда целую беспорядочную кипу мелко исписанных листков различного формата и цвета – от клочков почтовой до оберточной бумаги. – Вот сейчас, – говорил он, стараясь привести в какой-нибудь порядок этот сумбурный сбор.

Оппоненты весело и ехидно подсмеивались над «пинтой» О-вым, хорошо известным всем по своей безграничной беспорядочно-

сти.

– Эх ты, пиита! Все свои фантазии перепутал, концы с концами никогда не соберешь, а тоже доказывать вздумал! – острили над ним.

– Нет, это не мои фантазии... Это... это – голос великого разума человеческого... отражение его истинной Божественной Сущности!.. Вот слушайте, имеющие уши олухи!! – сказал О-в и по подобранным кое-как лоскуткам стал читать перевод знаменитой поэмы Гейне «Горная идиллия».

Вначале он, путаясь в лоскутках, читал вяло и невразумительно, и нам, не знакомым с оригиналом, все казалось непонятным и сумбурным и не производило никакого впечатления. Мне даже как-то обидно стало за О-ва, жаль его, мне казалось, что он таким образом испортил все впечатление от своей прежней речи.

Но когда он дошел до половины, он вдруг бросил лоскутки, вскочил и внятно, с поэтическим воодушевлением прочел весь конец поэмы наизусть и даже с каким-то торжественным пафосом закончил, указывая на свою грудь:

Вот смотри, малютка мой:

Рыцарь Духа пред тобой!

– О, о! какой рыцарь проявился! – засмеялись ортодоксы. – Только, брат, все это пиитика, а не фундаментальные доказательства.

– Не пиитика, олухи вы царя небесного! – закричал О-в. – А настоящая, чистейшая поэзия, высочайшее вдохновенное осияние... Олухи, так олухи и есть!.. Их разве проймешь! Будет! Пойдем, Никола, на воздух... Я тебя провожу, – заключил он, наскоро собирая опять в карманы свои поэтические лоскутки.

Приятели весело смеялись, смотря на него. Только один Сизов молча и сосредоточенно ходил по комнате, иногда взглядывая на О-ва странным, блуждающим взглядом. Не было смешно и мне. Я, взволнованный, как-то жался к О-ву, хватая его за плечо, то за руку, стараясь так или иначе выразить ему переполнявшие меня чувства.

– Ты это откуда взял? Сам переводил? А? Ты дашь мне переписать? – шепотом спрашивал я его, ласкательно заглядывая ему в глаза.

– Ладно, – сказал он. – Пойдем!

Мы вышли. Было темно. Я старался воз-

можно ближе идти к О-ву и не спускал глаз с его лица. Он шел, высоко подняв голову, с полным сознанием, как мне казалось, что он – истинный «рыцарь Духа».

– Это так хорошо! Удивительно хорошо! – говорил я. – Это Гейне, говоришь?.. Я его еще не знаю... И сам переводил? Пробуешь только? Трудно?

– Понравилось?

– Да, удивительно хорошо!.. А ты, должно быть, много читал?.. Ну, да ведь у вас не то, что у нас... Вот у вас философию учат и историю у вас проходят по-другому... Вот ты как все это знаешь – всю историю религий!

– Да, брат, у нас по этой части народ мозголовее... У вас что – одна практичность! Надо выше смотреть!.. Из профессоров есть теперь, из молодых, кое-кто дельный народ по этой части... Хоть бы Ксенофонта Н – а взять.

– У нас этого нет, – печально заметил я. – Ты и сам пишешь? – Стихи?.. Я тоже... пробую... Я тебе как-нибудь покажу, – несмело сказал я, весь зардевшись.

– А-а! – изумленно протянул О-в. – Покажи, покажи... Да ты к нам чаще заходи. Из вашего

брата у нас никто не бывает... Нет никаких связей... А у нас тут теперь разные дела пошли... Ничего – интересно... Переводим, читаем... Вот хотим разучивать «Ревизора», попробовать... Есть у нас настоящие артисты. Думаем журнал издавать... Заходи же!.. Пока прощай.

Мы подошли к повороту в мою улицу, и я, прощаясь, крепко пожал ему руку, молча, не имея сил выразить словами волновавшие меня чувства: в эту минуту я просто был влюблен в О-ва.

В сущности О-в был первой личностью среди моих сверстников, к которому я инстинктивно и сразу почувствовал особую духовную близость, какой я еще не переживал раньше. У меня много было товарищей из сверстников как в гимназии, так и в семинарии, но это были именно только товарищи, более или менее близкие, но ни к кому из них я еще не чувствовал той духовной, интимной близости и привязанности, которая определяется всегда довольно сложной комбинацией психических тяготений между двумя натурами, часто не только в силу их тождества, но и

противоположности.

О-в прежде всего среди старших товарищей не мог не поразить меня незаурядностью своей натуры и духовного облика, которую чувствовали даже наименее расположенные к нему товарищи. Этою особенностью он отличался так ярко, что невольно нравственно подчинял себе многих.

С тех пор семинарская конспиративная квартира сделалась для меня, источником и стимулом многих интимных душевных переживаний, в то время надолго оставивших след на моей душе. Как ни благотворно должна была влиять на меня вся та повышенная духовная атмосфера, которою жила наша семья накануне освобождения, но и по возрасту и по отношению младшего к старшим я мог воспринимать это влияние не иначе как пассивно, впитывая в свою душу все то, что должно было считаться высоким и благотворным в силу авторитета старших. Таково же по существу было еще и влияние Чуева. Но другое дело было здесь.

Конспиративная квартира стала для меня новой, органически необходимой для меня в

то время связью с живыми и сильными ростками новой жизни. Здесь я мог уже не только воочию наблюдать процесс зарождения юных «разведчиков» из низов жизни, но и активно приобщаться к той духовной лаборатории, в которой вырабатывалась их «сознательная» психика. И вот то, что особенно охватило меня в духовном общении с сверстниками бодрящим, еще не изведанным мною раньше чувством, была именно эта моя личная духовная активность, впервые нашедшая для себя естественную почву и выход.

Не раз впоследствии – особенно в минуты душевной подавленности – с особенно теплым чувством вспоминал я эти «конспиративные» беседы, на которых, быть может, чересчур еще ребячески наивно, но так искренно перерабатывались в юных душах сложные и противоречивые «впечатления бытия»; а их скапливалось все больше и больше. Любопытно, что нас в то время, как я уже упоминал, особенно интересовала «проблема» об отношении между религией и наукой, что, вероятно, объясняется преобладавшим среди нашей компании элементом «семинаризма». Конеч-

но, для нас, еще очень мало знавших и опытных, подобного рода проблемы не могли быть решаемы бесповоротно, и мы то суживали, то расширяли «границы» той и другой области, сообразно расширению нашего кругозора и жизненных впечатлений и психической индивидуальности каждого. Для иных, как для Сизова, участие в таких беседах являлось выражением особого психического процесса, переживавшегося ими и болезненно и глубоко; для О-ва оно принимало характер творчески-философских импровизаций; третьи, как М-ский, с более положительным и практическим складом ума, хотя и склонялись к более «позитивному» решению этих проблем, в общем относились к таким «выспренним» вопросам индифферентно или по крайней мере не придавали им особо регулирующего их внутреннюю жизнь значения. Такие психические особенности ярко сказались на дальнейшей судьбе всех этих юношей.

Но все это было уже после, а пока мы были все еще слишком юны, в нас так бурно начинала кипеть молодая кровь, что всякие душевные «самоуглубления» не могли нас под-

чинять себе всецело. Нас неудержимо влекла к себе живая жизнь... Увлекаясь горячими диспутами о «проблемах бытия» и о разных «материях важных», мы, в границах нашего юношески наивного понимания, пытались излить свои умонастроения в жиденьких статейках, стишках и рассказах в рукописном журнале, над перепиской которого в пятидесяти экземплярах просиживали ночи. В то же время с таким же увлечением отдавались мы и артистическому спорту, то пробираясь по вечерам целыми толпами на галерку плохонького городского театра, приходя в неописанный восторг от игры посредственных артистов, то самодельно устраивая передвижной театр, клея декорации, разучивая роли и устраивая по праздникам любительские спектакли в доме какого-либо из наших чиновных тузов, то, наконец, особенно ранней весной, большими компаниями уходили за город и с упоением отдавались пению хором «новейших» песен, привезенных к нам студенческой молодежью... Вероятно, многие и многие помнят этот период особого расцвета широкого своеобразного товарищеского об-

щения, наложившего характерную печать на психику целого ряда юных поколений.

Вспоминается мне, была уже ранняя весна, когда вдруг распространился в нашем городе слух, что с вокзала погонят партию «кандальных» поляков в наши арестантские роты. Был праздник, и наша конспиративная компания решила во что бы то ни стало взглянуть на «пленных», несмотря на принятые начальством меры. Это было зрелище для нас новое и поразительное. Мы, прячась за калитками и заборами соседних домов, могли, к нашему изумлению, видеть, как прошла по «владимирке» целая партия человек в тридцать таких же почти юнцов, как мы сами, и эти юнцы, окруженные конвоем с ружьями, крупно и бойко шагая, в ухарски надетых конфедератках, шли с такой юношески беззаветной и даже вызывающей бодростью!

Их поместили в арестантских ротах, на краю города, вместо пересыльной тюрьмы, где они должны были пробить несколько недель в ожидании новых партий, чтобы двинуться в Сибирь. С тех пор арестантские роты совсем завладели нашим вниманием. Внача-

ле чуть не каждый вечер мы, скрываясь от следивших за нами «субов» и надзирателей, ухитрялись просиживать где-нибудь в кустах поблизости тюрьмы целые часы, вслушиваясь в неведомые нам мелодии, то невероятно грустные, то торжествующе вздымающие, исполняемые юными, свежими голосами, далеко раздававшимися в вечернем воздухе. Было что-то торжественно-величавое в этом пении, и мы слушали его затаив дыхание, впиваясь в то же время глазами в юные бодрые лица, которые мелькали за железными решетками тюрьмы.

– Смотрите, смотрите! – крикнул однажды кто-то, показывая на площадь перед тюрьмой.

Мы увидали скромно стоявшую молодую девушку, в черном траурном платье, в шляпке с креповой вуалью, не спускавшую глаз с тюремных окон.

Вдруг она махнула белым платком раз, другой; в тюрьме, очевидно, это заметили, и десятки юных голов уперлись в оконные железные решетки; девушка качнула несколько раз головой – и в тюрьме вдруг грянула бурная

приветственная песнь. Когда ее пропели, девушка исчезла. Мы были вне себя от изумления. «Какова, братцы! А? Кто такая?» – спрашивали мы в недоумении друг друга. На следующий вечер мы уже, понятно, с величайшим интересом вновь ждали ее появления на прежнем месте. Она не заставила себя долго ждать. Очевидно, ее ждали и юные заключенные и при ее появлении снова приветствовали ее восторженным гимном.

Демонстрации молодой девушки, конечно, быстро сделались известными в небольшом городе как всей городской культурной публике, так и начальству; сделалось известным и то, что эта храбрая девушка была Софья N, дочь очень популярного в городе врача, поляка по происхождению. Но вместе с этой широкой известностью быстро прекратились ее демонстрации. Рассказывали, что когда в третий раз Софья N появилась перед тюрьмой, то к ней подошел дежурный офицер и, любезно раскланявшись с ней, передал ей предупреждение губернатора, что если она будет демонстрировать перед тюрьмой в траурном наряде, то начальство вынуждено будет тут

же на месте раздеть ее, и что если этого не сделали до сих пор, то из уважения к заслугам ее отца. С тех пор имя Софьи N прогремело в городе как имя первой у нас женщины «нового типа», и ей долго после этого нельзя было пройти незамеченной по улице или бульвару: наша молодежь останавливалась группами и всматривалась в нее с величайшим интересом, как в женское существо совершенно особого рода. Она интриговала нас и тем, что, помимо бывших демонстративных выступлений, она и теперь продолжала ходить по городу своей бойкой, деловитой походкой, в скромном черном траурном платье, и тем, что, по наведенным нами справкам, она была очень самостоятельной, независимо державшей себя в высшем обществе девушкой и что, наконец, она была знакома в подлиннике со всей польской классической литературой, о которой мы не имели никакого еще представления... Одним словом, Софья N явилась для нас совершенно неожиданным открытием.

В то время в нашей юной компании, да и вообще среди нашей молодежи, особенно семинарской, «женский вопрос» как-то еще не

зарождался или по крайней мере не выдвигался на первый план, несмотря на усердное чтение либеральной литературы. Девицы наших семей все еще были для многих из нас просто – «барышнями», призванными исключительно блистать соответствующими этому званию качествами – красотой тела и познанием некоторых изящных искусств. Неожиданное «преображение» установившегося типа в лице Софьи N как будто сразу заставило многих из нас задуматься над этим явлением и начать всматриваться в окружающих нас «барышень» с иной точки зрения. Однажды я принес в нашу компанию полученное мною от моей юной сестры известие, выходящее из ряда вон: оказывалось, что на днях одна из наших барышень-соседок, некто П., дочь средней руки чиновника, сама вышла замуж и таким новым совсем способом, что об этом никто не знал не только в нашем околотке, но и на ближайшей улице и даже среди самых близких родных и знакомых. Барышня эта до тех пор жила так скромно и так редко появлялась в гостях и вообще в обществе, что как-то мало замечали ее. И вдруг оказалось, что это –

замечательно развитая трудящаяся девушка, очень много перечитавшая и изучившая прекрасно немецкий и французский языки самоучкой, и что, наконец, она сама читает и переводит «Buch der Lieder» («Книгу песен» (нем.)) Гейне!

И вот эта-то серьезная девушка однажды объявила родителям, что она любит скромного телеграфного механика-немца и что они намерены повенчаться, и, взяв под ручку своего суженого, отправилась в церковь, в сопровождении только двоих свидетелей. И не было ни свах, ни званого пира, ни глазающей на свадьбу в окна уличной публики, ни всех неизбежных в этом случае аксессуаров. П. сделалась в нашем околотке по этому случаю притчей во языцех...

А мы, юнцы, к нашему приятному изумлению, все больше начинали находить, что и в наших барышнях начинается несомненное «преображение». Нам оставалось только это течение приветствовать и даже, как «рыцарям Духа», принять на себя особое попечение к дальнейшему развитию этого «преображения», в особенности среди тех, которые так

или иначе успели затронуть наши юные сердца.

Так родился у нас «женский вопрос», много раньше, – чем в нашем городе появилось какое-либо даже низшее женское учебное заведение, не говоря уже о гимназии. До тех пор, как известно, дворянские барышни специально отправлялись в петербургские и московские институты, а наши несчастные «разночинки» должны были ограничиваться лишь жалким подобием домашнего воспитания на медные гроши. Но скоро настал черед и для появления «юных разведчиц» из «низов», двинувшихся в столицы с неменьшим рвением и самоотвержением, чем их братья.

Зарождение «женского вопроса», несомненно, еще более подогрело повышенное настроение нашей компании. Странствуя с своими передвижными декорациями по домам наших чиновных обывателей, мы теперь уже не ограничивались исключительно только созерцанием наших барышень среди публики и танцами с ними или игрою в фанты, а рисковали даже, хотя еще очень несмело, на некоторую «просветительную миссию». Дока-

зательством того, насколько еще ни в нас, ни в наших барышнях не хватало смелости дерзнуть на полное «равноправие», может служить тот факт, что за все время существования нашей странствующей труппы в ней еще не участвовала ни одна барышня, и на исполнение женских ролей должны были затрачивать все свои артистические усилия гимназисты и семинаристы. Так еще робко совершалась у нас эволюция женского «преображения».

Повышенное настроение среди нашего юношества, однако, продолжало возрастать прогрессивно и, нужно сказать, к нашему несомненному духовному улучшению; в последние годы моего пребывания в гимназии почти совсем исчезли все дикие проявления школярской разнузданности, атмосфера видимо очищалась, и я не помню уже почти ни одного случая, подобного тем грязным половым эксцессам, которые мне приходилось отмечать в недавнее «старое» время. Имела в этом случае, как мне кажется, влияние и тогдашняя литература, носившая по преимуществу возвышенно этический характер как в

индивидуальном, так и в социальном смысле, и другие явления общественной жизни. Так, например, появление в нашем городе ссылаемых в Сибирь юных поляков, как видно из предыдущего, не могло не произвести известного влияния на нашу молодежь, но не в смысле чисто политическом, как таковом, а, так сказать, в общем социально-этическом. Политикой, в узком смысле, мы тогда еще интересовались мало: газеты читали редко, находя, что текущей политикой могут заниматься те, кто стоит около нее, и что мы в сущности ничего в ней не понимаем. Любопытно, что просветительного значения за газетами мы в то время не признавали. Но «живые» жертвы политики, тем более в виде наших сверстников, не могли нас не заинтересовать прежде всего той удивительной юношеской бодростью и вызывающей смелостью, которая, казалось, так мало соответствовала их данному положению. Невольно с представлением о них, незаметно для нас самих, в наши души вливалось тоже что-то бодрящее, поднимавшее дух, звавшее на духовный подвиг.

Несомненно в том же направлении повышения этического настроения влиял на нас и так целомудренно распускавшийся цветок «женского равноправия», час за часом совершенно изменявший наши воззрения на девушек, начиная с наших сестер. Я вспоминаю, с каким волнением я прочитал однажды, будучи у своего товарища, помещенную в каком-то журнале краткую биографию первой американки-врача Елизаветы Блекуэль. Почему-то эта биографическая заметка вдруг озарила меня каким-то просиянием: я тотчас же тщательно переписал ее и побежал домой, чтобы прочитать ее своим еще очень юным сестрам... «Господи! Да ведь вот что может быть! – наивно думал я. – Ведь может же быть, что и они не будут только рабынями своей жалкой судьбы – быть лишь невестами и женами писцов, чиновников, дьяконов, лавочников... И для них откроется иной мир жизни, духовно независимой, самостоятельно трудовой». И в этот момент я, с юношеской беззаветной наивностью, забыл, что не только мои голодающие сестры, лишенные способов получить даже самое элементарное обра-

зование, обречены еще на судьбу рабьей доли, но что и я сам, просветитель, недалеко еще ушел от возможности... остаться жалким писцом!

VI

**Мечты о будущем «роде жизни». – Мои
мудрзания и их конечный результат. –
Первые впечатления от пореформенной
деревни.**

Время летело быстро. Приближались экзамены. Для многих из нашей компании они должны были иметь решающее влияние на их будущую судьбу. Для меня нынешний экзамен, невыпускной, не имел еще такого значения, но результаты его были важны для меня как первое испытание применения мною системы «собственного умозрения», которая должна была решить судьбу моей гимназической карьеры. Так или иначе, экзамены заставили многих из нас круто задуматься.

Однажды, зайдя на конспиративную квартиру, я застал в ней одного О-ва. Он как-то необычно задумчиво ходил из угла в угол.

– Близко экзамены, – сказал я.

– Да, брат, пора за ум браться, – проговорил он.

– Готовишься?

– Нет, чего тут готовиться! Все одно по первому разряду в академию нас никого не выпустят, кроме разве Сизова... Это уж крышка!

– В университет думаешь?

– Нет, не пойду... Надо опять экзамен держать. Да и у батьки животов не хватит на меня.

– Значит, в священники?

– И в священники не пойду.

– Канонов боишься?

– Боюсь... Я, брат, в другие священники пойду... Пойду народ учить... в народные учителя...

– Вот как! – проговорил я в изумлении. Признаться, такое сообщение О-ва меня сначала как-то обескуражило, и мне стало даже немного обидно за него: звание народного учителя стояло тогда в общем мнении очень низко, так как эти места в то время замещались по преимуществу всяким сбродом из недоучек, исключенных из гимназий и семинарий за поведение и лень.

– Около нас, – продолжал О-в, – у меня на родине, большое село есть, фабричное... И училище есть уже... Это, брат, теперь великое

дело... Только нужно выше смотреть! Да! Не по-чиновничьи... Это вот мы учимся, чтобы в чиновники попасть, в духовные или светские – все одно, а народу не это нужно. Народу нужна чистота учения... Вот как апостолы учили... У нас там есть уже мальцы, не чета нашему и вашему брату... Обмозговываем это дело вплотную.

– Может быть, это и так... А все же ведь ты, по-моему, хорошим бы писателем мог быть, вот как Добролюбов, и поэтом. У тебя талант...

– А кто же мне помешает? Наберу с собой книг... Разобраться-то в них я теперь и сам смогу... Нужно быть писателем – буду, а то и без того дело будет... Книги книгами, а главное – Дух Божий! Вот что! Христос говорил и через простецов и через младенцев.

Миссия, которую выбрал для себя О-в, была по тому времени еще так необычна и нова, что вызывала и удивление, и невольное сомнение, и страх. И я не мог не высказать О-ву еще раз своего сожаления, что он не будет «настоящим» писателем, которые, как мы были тогда уверены, выращиваются исключительно в Москве или Петербурге.

– Это, брат, уж как кому! – сказал О-в, как будто и сам еще раздумывавший над своим выбором. – Вон М-ский, он и теперь в прокуратуры метит... В юристы идет... А знаешь что? Сизов-то... Не хочет в академию идти! Хочет в университет, да еще на физический факультет... Удивил! Это я только знаю, мне проговорился. «Я, говорит, по духовной части много знаю, а вот что они там, другие-то, говорят, доподлинно не знаю. Хочу, говорит, до самой сути дойти...» Вот ты и поди! У всякого свое. Только боюсь я, не выдержит он: там ведь все одна практичность, а он, брат, искренно духа ищет... и служить хочет одному духу... А ты куда думаешь? – вдруг спросил меня О-в, едва я успел несколько одуматься от изумительных сообщений как относительно Сизова, так и самого О-ва.

– Ну, я еще не решался об этом думать, – ответил я, весь вспыхнув, вспоминая о своих тяжелых счетах с гимназией.

– А все же: куда бы хотел? В писатели? Добролюбовым хочешь быть? – подсмеиваясь, спрашивал О-в.

– Шути шутики!.. А я действительно хотел

бы в университет... Хотелось бы мне, знаешь, в самое нутро заглянуть – в историю, в литературу... чтобы, знаешь, вся эта жизнь человеческая осветилась бы мне... Ты вот больше меня знаешь в этом... А в гимназии что у нас было? Ничего этого не было... А дома – все урывками... Ничего цельного... Вот меня и тянет туда...

– Ну что ж, это хорошо! – одобрил О-в с своей обычной категоричностью. – Если хочешь дух жизни понять и послужить ему – это хорошо!

– Да, только еще до этого далеко... Все это для меня одна мечта... Пожалуй, в землемерах останусь.

– Ну, это плохо, – заметил О-в.

– Все же лучше, чем здесь в писцах... Нет, ты это не говори. Теперь у землемеров много интересного, – настаивал я, хватаясь за перспективу быть землемером, после своего возможного крушения в гимназии, как за соломинку. – Знаешь, только сегодня узнал новость, очень важную: нас (то есть учеников землемерно-таксаторских классов, в числе которых состоял и я уже целых два года), учите-

ля-землемеры нынче повезут на практику в настоящие деревни... Понимаешь? Вводить «уставные грамоты». Они взяли работы и хотят нас прямо в самый центр практики ввести... Это, брат, дело по теперешнему времени серьезное и важное... и интересное... Сколько новых людей увидишь, новую жизнь!.. А природа? Я, брат, очень люблю деревенскую природу... Там и леса, и реки, и поля... Сколько поэзии! Нет, ты не говори, что это плохо...

– Не знаю, может быть... Только у нас по деревням хорошо знают, что все землемеры – заядлые чиновники, взяточники и пьяницы.

В это время в квартиру вошла целая компания нашей молодежи, семинаристов и гимназистов, вместе с каким-то не известным еще мне студентом университета, недавно приехавшим на каникулы.

– О чем разговор? – спросил вошедший с ними М-ский.

– А вот об экзаменах: кто, куда и зачем пойдет, – сказал О-в.

– Ну, ты уж, известно, в апостолы! – сиронизировал М-ский.

– Плохого не вижу... А ты уж, конечно, в

прокуроры?

– Это видно будет... А в юристы пойду...

– Ну что ж, у тебя губа не дура... Прямо в практику.

– Да уж не буду носиться во всяких эмпиреях, чтобы воду толочь, – перебрасывались обычными колкостями М-ский и О-в, две натуры, диаметрально противоположные по своему психическому складу.

– А ты куда думаешь? – спросил меня М-ский.

– Он в Добролюбовы... У него тоже губа не дура... Прямо в гениалы! – заметил, хохоча, один из «ортодоксов».

– Этим не шутят! – вспыхнув, ответил я, огорченный, как мне казалось, профанацией имени писателя, с которым так давно был я связан интимными чувствами и представлением о нем, как о недостижимом идеале.

– Да, этим не шутят! – заметил О-в. – Шутить с этим могут только олухи, которые не видят дальше своего носа... Гении рождаются, а не делаются!

– Старо! – заметил вдруг студент. – Все эти ваши гении – просто писатели как писатели...

Были и сплыли... Все эти ваши Белинские, Добролюбовы... старая песня! Теперь уж им на смену другие идут, не чета им.

Все это произнес студентик так авторитетно и с таким апломбом, что мы с О-вым просто онемели от изумления.

– Вон, брат, как там у вас!.. Кто же это такие ваши настоящие писатели? – спросил О-в.

– Да есть... Вот хоть Писарев, например.

– Писарев? Знаем, брат, знаем... Ну, у него еще молоко на губах не обсохло... Высоко забирает, да еще неведомо где сядет... А Добролюбов – это, брат, кремень духа, огнем и мечом испытан... Мы это хорошо знаем, потому он наш, кровный... Мы его всем нутром чувствуем и понимаем... Кто нам раскрыл все поддонное нашей жизни, как не он? Кто все наши заматеревшие в рабстве души наизнанку вывернул и воочию нам показал?.. Кто нам вскрыл таинственный смысл художественных творений Островского, Достоевского, Гончарова, Щедрина? А? Он... И никто еще в нашу, вот эту самую рабскую, жизнь глубже его не заглядывал... А почему? А потому, что он истинный посланник духа, провидец...

– Старо! – проговорил студент, махнув пренебрежительно рукой. – Все эти ваши гении, провидцы, творцы – одна красивая игра в слова... Это теперь доказано, как дважды два...

– Замолчи! Замолчи! – закричал на студента О-в. – Не богохульствуй против Духа Святого!..

Спор разгорался все больше, когда к студенту примкнул М-ский, я и некоторые другие – к О-ву, а наши «ортодоксы» иронически подливали масла в огонь и в восторге восклицали:

– Вот так баталия!

Было уже далеко за полночь, когда мы разошлись, конечно, не решив ничего. Да и не могли решить, уже по тому одному, что все мы еще очень мало в сущности знали всю литературу поднятых вопросов (не только Писарев, сравнительно еще недавно выступивший, но и Добролюбов были нам тогда известны лишь по случайно попадавшим нам статьям в журналах). Весь спор, таким образом, сводился просто к трудно определимым интимным симпатиям и настроениям, которые вызывали эти писатели в разных индивиду-

альностях. В частности, со стороны О-ва и моей сказывались, несомненно, наши тайные симпатии к самостоятельному значению художественного и поэтического прозрения и обида за его полное отрицание и непризнание.

Любопытно, что, когда через два-три года, уже студентом, приезжал я в родной город, в конспиративных квартирах наших приемников все еще продолжались горячие споры между двумя этими «направлениями». Быть может, это было отчасти слабым отражением шедшей на верхах литературы в то время полемики между двумя прогрессивными журналами. Но по существу дело было глубже. Среди нашей местной, главным образом семинарской, молодежи создавалась о Добролюбове легенда, как о «нашем» писателе, который обязан своим глубоким «прозрением» в самые недра современной жизни именно тому, что он был разночинец-семинарист, глубоко понимавший душу народа и его интересы. В то время и я был горячим сторонником этих взглядов. О Чернышевском мы не дерзали тогда говорить, так как он казался нам

«слишком ученым».

Описанный вечер открыл мне так много нового и неожиданного, что я не только в то время, но и долго спустя не мог еще хорошенько разобраться в поставленных на нем сложных литературных и психологических загадках. Да и не мог бы я тогда это сделать.

С наступлением экзаменов специфически конспиративное функционирование квартиры О-ва прекратилось само собой. Перед главными ее представителями встала нелегкая задача сводить последние счета со школьной учебой. Мои экзамены начались раньше. Если мой способ «собственного умозрения» в отношении школьной науки не был признан вполне «легальным», то все же благодаря ему, а отчасти, вероятно, и влияния на совет Чуева, с меня было снято клеймо безнадёжного тупицы и лентяя, и взгляд на меня наших педагогов значительно изменился: они снисходительно иногда прощали мне прегрешения против формальных школьных требований. Это было уже серьезное упрочение моей позиции.

Экзамены прошли быстро и успешно, и я,

веселый и бодрый, с нетерпением ждал минуты, когда землемеры усадят нас, юных таксаторов, в широчайшие тарантасы и повезут вглубь настоящей, доподлинной деревенской жизни, о судьбах которой чуть не с самого детства суждено мне было так много слышать и интересы которой так своеобразно переплетались с ходом моего собственного духовного развития...

Когда я через два месяца вернулся опять в город и начались занятия в гимназии, я уже не застал никого из более близких мне членов конспиративной квартиры: не было в семинарии ни О-ва, ни Сизова, ни М-ского. У более молодых их преемников дела как-то долго не налаживались в смысле прочного товарищества, и мои сношения с прежней секретной квартирой порвались совсем. С окончанием мною в наступившем учебном году курса в гимназии и отъездом из моего родного города, у меня благодаря моим злосчастным столичным мытарствам в качестве неудачника-пролетария надолго порвались почти все прежние интимные связи с родиной, за исключением, конечно, семейных.

Только спустя уже пять лет я встретился с О-вым и узнал о судьбе большинства членов нашего бывшего товарищества. Судьба эта была для многих из нас очень характерна. Как ни короток был период нашего духовного общения, как ни детски наивны и незрелы были еще наши взгляды во многом, но оно, очевидно, оставило на душе каждого из нас известный след, и мы не могли не вспоминать о нем с чувством некоторой духовной отрады за те юношески чистые помыслы и стремления, которые мы взаимно поддерживали друг в друге...

Скажу здесь кратко о судьбе тех, о которых упоминал в этих записках.

Несчастнее других кончил Сизов. Благородно отказавшись от блестящей карьеры, которую ему все сулили и которой он, несомненно, достиг бы, отказавшись во имя поисков истины, он не вынес взятого на себя бремени и, отчаявшись найти отвечающее его душе решение терзавшего его конфликта между религией и наукой, погиб от психической болезни. Мог бы быть вполне счастлив, по-своему, М-ский, который, блестяще кончив курс

на юридическом факультете, как раз ко времени введения судебной реформы сразу сделался звездой нашей местной адвокатуры и, несомненно, принес бы здесь немало пользы в смысле определенной «гражданской» миссии, но он тоже погиб во цвете лет от чахотки. Самой характерной и оригинальной была судьба О-ва. Он до конца остался верен и своей натуре и своей миссии, как она рисовалась ему в его фантастических мечтах, хотя он все же не ожидал, чтобы судьба в самом начале расправилась с ним столь сурово. Я встретил его на родине уже в качестве административно сосланного под гласный надзор, с строжайшим запрещением куда-либо поступать на казенную службу и с абсолютным запрещением всякой преподавательской деятельности, даже в частных домах. Это последнее было для него самым убийственным и по существу и в материальном смысле. Оказалось, что, пробыв года два после семинарии учителем в народной школе в одном фабричном селе, он увлекся проповедью своеобразно русского «христианского социализма», примкнув к образовавшемуся тогда кружку пропаганди-

стов интеллигентно-социалистических колоний, был вскоре привлечен к громкому политическому процессу, просидел больше года в Петропавловской крепости, чуть не сошел там с ума и, наконец, уже оправданный тогдашним судом, был взят под строгую опеку администрации. Встретил я его в это время жившим в крохотной семинарской каморке и попрежнему таким же бодрым и неунывающим философствующим импровизатором: к пролетарскому «роду жизни» он привык с детства, а о карьере не мечтал ни о какой, кроме, как говорил он, «апостольской»... Впоследствии, в 80-х годах, я часто встречался с ним в Москве, где он тогда жил таким же пролетарием, пристроившись учителем в железнодорожной школе, увлекаясь «свободным религиантством», изучая современных философов, вроде Шопенгауэра и Гартмана, и страстившись еще более к философскому импровизаторству. С ним тогда охотно «философствовали» по целым часам и Козлов, и Соловьев, и Л.Н. Толстой... К сожалению, эта незаурядно талантливая, выдающаяся и оригинальная по своему психическому складу

личность не оставила после себя прочных следов. Крайняя склонность к свободной импровизации под давлением минутного вдохновения, так увлекавшая и его самого и многих его слушателей, совершенно лишила его ум и волю строгой дисциплины, необходимой для серьезного умственного труда.

Не осталось без влияния наше конспиративное товарищество и на тех, кого в шутку называли «ортодоксами»: некоторые из них впоследствии сделались медиками и учителями, а другие, будучи священниками, немало претерпели в свое время в качестве представителей прогрессивного духовенства на епархиальных съездах, только что было входивших в моду, но затем быстро «сокращенных».

В этих очерках я имел в виду исключительно те события и тех лиц, которых знал непосредственно. Помимо тех кружков, о которых упоминаю я, в нашем городе существовали, конечно, и иные, хотя, быть может, и не такие обширные, в которых принимали участие старшие воспитанники наших средних школ. Но я, примыкая больше к низшему разночинско-семинарскому кругу, не имел с по-

следними сношений, так как они были и старше меня по курсам. Только уже значительно позже я познакомился с некоторыми из них, сделавшимися известными своей общественной и литературной деятельностью.

Мое пребывание нынешним летом в самом центре деревенской жизни имело, судя по всему последовавшему, сильное влияние на мой духовный рост. Передо мною впервые открылся такой сложный мир своеобразных жизненных явлений, о которых раньше я не имел почти никакого конкретного представления в таком широком объеме. А главное – я чувствовал себя в этом мире не случайным наблюдателем, а до некоторой степени активным участником в его делах. Все это как-то необыкновенно бодрило меня и прежде всего возвышало в собственных глазах приливом сознания такой возмужалости, как будто я только что причастился от древа познания добра и зла. Но в то же время мир новых впечатлений был так для меня неожиданно разнообразен и обширен, что было бы с моей стороны, конечно, в высшей степени наивно думать, что я мог сразу свободно в них ориенти-

роваться. Я только инстинктивно чувствовал, что на смену моих прежних отвлеченных и в общем все же довольно смутных представлений вдруг встало что-то глубоко жизненное, реальное, но в то же время и столь для меня хаотически-сложное, что неотступно требовало работы обоснования, и я почувствовал такой прилив духовной энергии, какого еще не испытывал раньше. Под давлением такого моего настроения по возвращении из деревни я с особой энергией принялся за штудирование, но уже в более полном объеме, тех моих любимых в то время писателей, которые уже так много послужили выработке моих «собственных умозрений». Как прежде разговоры с Чуевым, так и теперь чтение Белинского и Добролюбова (собрание сочинений которого как раз вышло к этому времени, и я, к моей неопишуемой радости, мог их приобрести на первый, полученный мною за частный урок гонорар) и других писателей по истории и литературе до того окрылили мой дух, что мои дерзания на собственное умозрение приняли еще небывало смелые размеры.

Прежде всего это сказалось в неожиданно

страстном порыве к писательству: я писал стихи и по Кольцову и по Некрасову, писал рассказы по Тургеневу и Помяловскому, написал даже по Островскому целую драму из народного быта в подражание его «Грозе» и, наконец, стал писать даже классные задачки «по Белинскому и Добролюбову», к изумлению и себя самого и нашего старого словесника...

Мне до сих пор помнится этот угар «собственных умозрений», который охватил меня в последний год мобй школьной жизни; быть может, это был инстинктивный порыв не сознававшегося мною ясно отчаянного напряжения, чтобы так или иначе выбраться из сетей того долгого конфликта, который создавался между мною и школьной учебой, победив или погибнув посрамленным... Ведь в этих дерзаниях был мой единственный козырь.

Последним моим писательским дерзанием в этом году было выпускное сочинение, написанное, как помнится, на тему добролюбовских статей об «обломовщине» и «Накануне», только уже в применении к героям щедринских сатир и, в частности, к его «талантли-

вым натурам». Это, как видно, тоже было навеяно «духом времени» и прошло не без своеобразной сенсации.

– Ну, знаете, наши с вами дела идут пока очень недурно, – сказал мне как-то Чу-ев вскоре после экзамена по словесности, – ваше сочинение признано даже самим архифило-гом Т. (командированным от университета ассистентом на наш экзамен) на редкость у нас здесь выдающимся. Будем надеяться, что все кончится благополучно. Не робейте! – Вообще Чу-ев продолжал относиться ко мне с прежним радушием и был теперь как-то отечески доволен моими успехами на выпускных экзаменах, превзошедшими, повидимому, его ожидания.

Выпускное сочинение, помимо того, принесло мне другое большое удовольствие. Как-то вскоре отец сообщил мне, что он заходил к старому предводителю – «масону», который, как я упоминал раньше, потерпел крушение еще раньше отца от крепостников, накануне освободительного манифеста, и который сохранил прежние благожелательные отношения к нашей семье. Зашел разговор обо мне, о

моих успехах, и старик пожелал меня видеть и послушать мои сочинительские упражнения. Я в этот же вечер отправился к нему с отцом. Мне было приятно увидеть старика, который так мне понравился, когда, осматривая с депутатами только что открытую нашу библиотеку, он с большим чувством благодарил моего отца, что он в его предводительство осуществил такую прекрасную мысль. Теперь он жил одиноким старым холостяком, не сходя с дивана, почти обедневший и лишенный всякого влияния, под строгой опекой своего старого дворецкого и его семьи, которая обирала его елико возможно. Принял он нас радушно и просил прочесть ему мое сочинение. Выслушав его внимательно, все время держа ладонью ухо по направлению ко мне, старик сказал:

– Очень, очень хорошо... Главное – вполне литературно... Да!.. Понимаешь?.. А?.. Что?.. Главное – вполне литературно... Ты этим дорожи... Это не всякому дается... Да, хорошо... Только вот чего я не возьму в толк: все ты говоришь про крестьян – «народ, народ»... А мы что такое? Почему мы не народ?.. А?.. Что?..

Почему же мы не народ?

– Потому... потому, – забормотал я, смущенный совершенно неожиданным вопросом, – потому что... крепостники не могут быть «народом»... и вообще все, кто угнетает трудящийся народ, – с юношеским увлечением закончил я, вспомнив о либерализме старого масона.

– Ну, хорошо... Положим, так было... А теперь... Разве теперь есть крепостники? Разве мы все еще крепостники?

– Да, есть... Я их очень много видел нынешним летом на землемерной практике...

– Сам видел? Много еще, говоришь? Гм... Впрочем, так и надо было ожидать, – задумчиво заметил он. – Ну что же, может быть, вы, молодые, и правы... Я уже теперь от всего отстал, ничего не вижу...

Старик еще раз похвалил мое сочинение «за литературность» и уговаривал как можно дорожить этим.

– Ты, Николай Петрович, внушай это ему чаще, – сказал он отцу.

Уходя от старика, я, можно сказать, был на седьмом небе и еще больше полюбил его.

Мое приподнятое настроение было в самом зените. Экзамены еще не были закончены, и решение совета об окончательных результатах не было объявлено.

Наконец, явилось и оно: аттестат мне был выдан, но я не был признан «имеющим право на поступление в университет».

Итак, всем моим дерзаниям по системе «собственного умозрения» не удалось одолеть требования школьной системы, и они в конце концов разбились об эти несокрушимые скалы, как утлая ладья.

Это был, очевидно, вполне «закономерный» финал всех моих долгих юношеских конфликтов с старой системой.

Когда я пришел к Чу-еву, удручаемый стыдом, что не оправдал его надежд, он только пожал скорбно плечами, сказав в утешение, что большинство стояло в совете за меня, но не решилось... нарушить формальные требования.

– Впрочем, не унывайте, – прибавил он, – поезжайте в Москву. Быть может, там Т. что-нибудь для вас сделает... Я уверен... Надо попытаться.

Да, надо, надо пытаться, дерзать и дерзать... Ведь не я первый, не я последний был призван жизнью на эти дерзания. Снабженный добрым Чу-евым 25 рублями для взноса платы за вольнослушательство в университете и обещанием от одного знакомого скромного урока в Москве, я двинулся по пути к столицам, куда уже раньше прошло так много наших «юных разведчиков»...

Заканчивая воспоминания из этого периода моей юности, так близко соприкасавшегося с крестьянской реформой, я не могу не остановиться, хотя бы в общих чертах, на тех впечатлениях, которые я вынес от пореформенной деревни в самые первые годы после освобождения.

Источником для восстановления этих впечатлений для меня могут служить теперь прежде всего те мои литературные опыты, с которыми я робко выступил через три года после окончания гимназического курса, так как они большею частью посвящены описанию этого именно периода народной жизни. Очерки эти очень слабы в техническом отношении; вполне естественно, что они односто-

ронни и поверхностны, так как мое юношеское «прозрение» и не могло быть иным, но они так или иначе представляют вполне правдивое отражение общего моего тогдашнего настроения по своему резко обличительному и сатирическому тону. Целесообразно или нет было в то время такое отношение к описываемой полосе народной жизни, но оно было таково, и не у одного меня. Не случайно, конечно, в то время видную роль играли такие сатирические журналы, как «Искра» Курочкина и «Будильник» Степанова, под редакцией Вейнберга, а наиболее видное место в литературе все прочнее и прочнее завоевывал знаменитый сатирик. Я, как едва начинающий писатель, не вносил, значит, ничего особенно нового в этом отношении, а лишь примкнул к общему направлению наиболее чутких органов печати, вполне соответствовавшему пережитым мною настроениям.

Несмотря на тот жгучий интерес (или, вернее, благодаря ему), который я пережил в недавнем прошлом вместе с своей так идеалистически настроенной в освободительном духе моей семьей, несмотря на мое все же

жизнерадостное в общем настроение, вынесенное мною впечатление от ликвидационного периода освободительной реформы было в общем не из отрадных.

Прежде всего, к моему изумлению, в хаосе, поднятом «ликвидацией», я почти совсем не мог отличить «освобожденного раба»: где он, какой, какая новая печать легла на его чело? В чем, наконец, ярко выразилась новизна отношения к нему прежних господ и его к ним? Ответа не было: все было смутно и неопределенно, все было запутано в сеть бесконечных недоумений и недоразумений. Вчерашний раб никак не мог уяснить себе: в чем же собственно заключалась его свобода, кроме того, что помимо конторы помещика он стал иметь теперь непосредственно дела еще с исправником, становым, непременно членом и мировым посредником из тех же помещиков?

Мужик метался, недоумевал, говорил на сходах, что, гляди того, настоящий манифест скраден и подменен, иногда «бунтовал» и получал за это, совсем по старому, арест в «клоповнике», ссылку в Сибирь или грандиозную

порку. Наконец, он начал понимать, что вместо «крепостного» он стал теперь «временно обязанным»... работать и работать как на своем наделе, без леса и часто без воды, в большинстве случаев не покрывавшем самого ничтожного minimum'a наложенных на него платежей, так и на громадных пространствах господской земли – работать так же, как и целые столетия раньше... И он стал приспособлять себя оригинальными способами «пассивного протеста» к «новому строю жизни», сущность которого он еще никак не мог себе уяснить. Он понял пока только одно, что единственное существенное приобретение заключалось для него в упразднении права помещика торговать и распоряжаться им, как собственностью, лично. Это был действительно плюс, но пока только и было... очевидного и непреложного. Вчерашний господин положения, помещик-крепостник тоже был сначала в некотором смущении и недоумении, никак еще не будучи в состоянии понять, в чем же собственно заключалась «свобода», чего ему бояться и чем его кровно обидели. Пока он это не уяснил себе, он был настроен край-

не враждебно и все усилия употреблял, чтобы быть настороже от малейших новых покушений на его права и собственность. Наконец, и он понял, что такая «свобода» в некоторых отношениях даже весьма удобна, освобождая от целой обузы прежних хлопот с крепостным рабом, и он успокоился на лоне новых видов «оброчных поступлений», «добровольно» обрабатываемых прежним рабом дорогих аренд и новых начальнических окладов.

Приведу несколько типичных иллюстраций к характеристике этого ликвидационного периода, сохранившихся у меня в памяти из моей первой «практики». Особенно хорошо памятны мне два типа мировых посредников, с которыми мне пришлось иметь дело сначала в качестве землемера (хотя еще не самостоятельного), а затем уже будучи у одного из них на учительской кондиции при его детях. Последний был типичнейший Илья Ильич Обломов. Сырой, толстый, неподвижный, он почти не выезжал из своей усадьбы, состоя после смерти жены под опекой своей прежней крепостной экономки, с которой жил почти открыто. Все его дело заключалось

исключительно в выслушивании жалоб мужиков, в разбирательство которых входил не он сам, а присутствовавший тут же его письмоводитель Силыч, который и ставил свои резолюции, подавая их посреднику для подписи. Силыч, обрюзгший, пьяный и взяточник, был в участке посредника – все: он не только решал все дела за посредника, но по собственному усмотрению штрафовал мужиков, сажал их под арест в «клоповники» и даже порол, предписывая производить эти операции волостному начальству. Он же сочинял с землемерами предварительные проекты уставных грамот, забираясь в укромные углы с бутылками водки и наливок. Землемеры, часто производившие работы без всякого контроля, по лени или злоупотреблению посредников, делали что хотели. За редкими исключениями, почти все брали взятки с крестьянских обществ и деньгами и натурой, не брезгуя даже грошами, брали и с помещиков; крестьян, ничего не понимавших в межевании, обманывали, показывая в натуре одни земли и внося в уставные грамоты и в планы другие.

Для характеристики другого типа посредников укажу на известного мне в то время молодого еще помещика из отставных гусар, отчаянного кутилы с апломбом дельца, в духе Ноздрева, с утра до ночи носившегося по своему участку на ухарской тройке, в плисовой безрукавке и шелковой голубой рубашке, почему-то всегда с нагайкой в руках. Он имел претензию вести все дела непременно самостоятельно, с необыкновенным начальническим куражем, неистово крича и топая ногами на крестьянских сходах, разнеся землемеров и иногда самих помещиков; но, плохо зная «Положение» о крестьянах и разные разъяснительные циркуляры, он всюду производил своим появлением только необычайный сумбур, умея в то же время ловить рыбу в мутной воде. В течение трехлетнего воеводства этого почтенного администратора, как оказалось впоследствии, было заключено более сотни незаконных уставных грамот. Можно себе представить, какой кавардак получался из всего этого: наезжали новые отряды землемеров для проверки первых, опять ввали и мошенничали, снова двигались новые земле-

мерские партии – и так в течение десятка лет, а иногда и без конца.

Еще большую путаницу и недобросовестность вносил в это время в дело ликвидации новый элемент, так сказать, «третьих лиц», состоявший главным образом из купцов и деревенских кулаков, которые, пугая наиболее трусливых и невежественных в хозяйственном деле помещиков и помещиц мужицкими бунтами, скупали у них по невероятно дешевым ценам громадные леса и отчасти земли. Это был в то время совсем дикий элемент, вся «культурная деятельность» которого в качестве новых лендлордов сводилась к тому, чтобы рубить и рубить во что бы то ни стало, что только ни росло в помещичьих имениях. С энергией, достойной лучшей участи, они вырубали в течение двадцати лет почти половину лесной России. Все сказанное – не ново и в свое время было подробно разработано и констатировано в литературе.

Было, вне всякого сомнения, немало мирных посредников, вполне гуманных и добросовестных, даже искренно преданных народным интересам; но во всяком случае таких

было меньшинство. «Крепостное право» было упразднено, а все крепостнические навыки продолжали проявлять себя в полном объеме.

После первого же года практики у меня пропало уже почти всякое желание быть землемером при таких условиях.

Таким образом, «освободительная ликвидация» все больше и больше переходила в тот очень длительный и нудный процесс, который получил в истории крестьянского освобождения характерное название «недоразумений». На выход из них затрачивались безмерные духовные напряжения лучших умов и сердец.

И тем не менее уже и тогда чувствовалось, что «освобождение» совершалось; но это было не одно то формальное и юридическое освобождение, которое вводилось в жизнь лишь под формами старой опеки и старыми крепостническими приемами, урезанное и извращенное, а то потенциальное духовное освобождение, которое хотя медленно и трудно, но упорно прорывалось сквозь старые сети; то освобождение, которое, как давняя мечта, зрело и крепло в лучших умах и сердцах,

неуловимое, но упорно деятельное и самоотверженное, проникая все шире и глубже в самые глухие недра жизни. «Великие чаяния» кануна реформ неотразимо увлекали и все юное, бодрое и морально сильное на духовную борьбу за их полное воплощение в жизнь.

1908—1910

Впервые опубликовано: в журнале «Вестник воспитания», 1908 г., N 1, 2, была напечатана глава, носившая название «Детские и школьные годы». В литературном сборнике «Друкарь» (М. 1910), посвященном памяти первопечатника Ивана Федорова, была опубликована глава «Свободный станок». В Журнале «Вестник Европы», 1910 г., кн. 9, 10, напечатана заключительная часть воспоминаний под названием «В шестидесятих годах».

Оригинал здесь:
http://dugward.ru/library/zlatovratskiy/zlatovratskiy_vosp1845-64.html

Примечания

Все это «чудо» представляло собою лишь небольшой пресс, пригодный для оттиска набора в одну четверть среднего печатного листа.

[^^^]

Намек на казенную типографию, почти исключительно обслуживающую официальные «Губернские ведомости».

[^^^]

Добролюбов, писавший под псевдонимом –
бов.

[^^^]